

84(2-632.1)/6  
У435

Торис  
Укачин  
ПОВЕСТИ

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
СРОКОВ ВОЗВРАТА**

**КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_







НОВИКИ-СОВРЕМЕНИКА

---

Борис Укачин

Повести

Перевод с алтайского

23

«Современник»  
Москва  
1983

С (Сиб)  
У43

Рецензент Ю. Леонов

4062360 v v  
Горно-Алтайская  
областная  
БИБЛИОТЕКА.

Укачин Б.

У43 Повести / Пер. с алтайск. В. Крупина и А. Китай-  
ника. — М.: Современник, 1983. — 208 с. — (Новинки  
«Современника»).

В пер.: 1 р. 10 к.

В книгу прозы известного алтайского поэта Бориса Укачина вошли две повести, посвященные трудным годам военного лихолетья. Хотя война гремела вдали от Алтая, но и там отозвалась страданием и горем. Главные герои повестей, помня о тяжелых испытаниях, выпавших на долю народа, в активном гражданском труде создают наше завтра, будущее страны.

У 4762070060—217 228—83  
М106(03)—83

ББК84Сиб.  
С(Сиб)

© Издательство «Современник», 1983 г.

5-УБ-П

# Убить бы мне

## ГОЛОД

### ГЛАВА ПЕРВАЯ,

где я вспоминаю избушку  
семерых доярок в урочище  
Кайру-Бажи

Борбок-Кара вошел в палату совсем неожиданно, и я, увидев его, от удивления закричал:

— Ба!.. Ты ли это?

О, алтайский кудай-бог! Как он здорово изменился. Раньше, в те давно забытые дни, разве он был таким?! Прежними остались только глаза: спокойные и холодные. И со дна этих глаз на меня тихо и тайно глядит еще один человек.

И я тут же, воочию, увидел избушку в урочище Кайру-Бажи, где жили семеро доярок и их многочисленные дети. Алтайцы бы, конечно, не сказали «многочисленные», а опоясывающие очаг дети.

У избушки не было крыши. Вместо окна была дыра, закрытая не то телячьей, не то овечьей шкурой, иначе бы от зимних ветров и морозов нам не спастись. Домик был похож на одноглазого печального человека. Глубоко прижатый к земле, он будто стеснялся своей слепоты и бедности.

В маленькой и единственной во всем урочище избушке жили семеро женщин-доярок со своими детьми. Да, семеро одиноких доярок жили на стойбище дойных коров. Их мужья ушли, как тогда говорили, на кровавую войну и еще в какую-то тайную страну, назвать которую почему-то все боялись.

Об отцах, ушедших на войну, говорили постоянно. Изредка от чьего-нибудь отца приходило, бывало, письмо-треугольник. Тогда вечером открывали двери дырявой железной печки и, подбрасывая туда тонкие сухие щепки, приближали к свету дорогой листок и какая-то из матерей, чуть ли не обжигая лицо пламенем, начинала читать вслух, а все остальные сидели, боясь даже кашлянуть. Но кто-то, не выдержав до конца, вздохнет тяжело или тихо заплачет: «Есть, оказывается, бог — живой наш отец!»

Вечером, когда наши матери возвращались с работы,

становилось очень тесно в маленькой и одноглазой избушке. Особенно во время еды — негде сесть. Поэтому какой бы мороз ни скрежетал во дворе своими клыкастыми зубами, некоторые из нас не входили в избу, оставаясь в островерхой юрте-аиле, покрытой корой лиственницы. Почему-то чаще всего в зимней холодной юрте оставалась Кару со своими четырьмя детьми. Малайт был совсем маленьким. Я дружил с Метиреем, средним сыном тетушки Кару.

И вот со своими четырьмя детьми тетушка Кару чаюет посреди зимы в холодной юрте. Да, чаюет. Ведь кроме чая ничего густого и сытного нет. Если бы в руках детей каждый раз оказывалось по маленькому кусочку алтайского сырчика-курута или мучной лепешки, испеченной в жаркой золе очага, тогда, конечно, слез, криков и драк могло бы не быть. Голодные дети что собачонки, дерущиеся из-за где-то найденной косточки.

Вчера в колхозе раздали немного ячменного зерна. Каждому работающему досталось не много и не мало — всего по килограмму. Из этого зерна Кару приготовила полкилограмма талкана — жареной муки. Как она теперь разделит ее между своими голодными детьми и на сколько дней этого талкана им хватит?

Наши места суровые. Богатого хлеба не вырастишь, да и кому заниматься хлебопашеством? Нет людей. За скотом некому присмотреть. Нет ни трактора, ни одной машины.

В наших местах даже картошка не растет. Изредка, правда, привозили в зимнюю пору мерзлые, как лошадиный помет, картошины. На сколько дней хватит тетушке Кару ведра картошки? Ох, как прожорливы дети...

— Дай, мама, еще талкана, — Метирей, протягивая руки, подает матери свою деревянную чашку.

— На тебе талкан! — Кару большой и черной, потрескавшейся от постоянной работы и мороза ладонью шлепает сына по рту, а сама молча глотает светлую кипящую воду.

В хорошие времена алтайцы пьют чай с солью и молоком. Соли теперь тоже нет. Вместо чая заваривали корни трав и растений или томон — отходы от жареного зерна, то есть ячменную шелуху.

— Дай мне еще картап-картошку! — Малайт глядит на мать своими острыми, как иголка, зрачками. — Есть хочу, я не наелся...

— На тебе картап! — Черная ладошь тетушки Кару закроет рот маленького Малайта.

Метирей, Паша, я и братишка Борбок-Кары горбатый Атыр — все мы одногодки. А Борбок-Кара старше нас лет на пять или на шесть. Ростом он невысок, но крепок. Глазы круглые, черные и холодные...

Вот он стоит. Только что перешагнул порог моей больницы палаты. Бородатый. Каким-то странным он теперь стал. С трудом его узнаешь. Прежними остались лишь глаза...

«Ба-та!» — восклицаю про себя. Мне кажется, давая новорожденному имя, алтайцы предугадывают, каким будет его внешний облик. И потому многие имена похожи на их владельцев. А что значит «Борбок-Кара»? «Борбок» — наполненный, полный, даже круглый, а «кара» — черный. Так и есть — мой Борбок-Кара крепкий, полненький, и если добавить к этому его пышно-окладистую и черную, как смоль, бороду, то и получится Борбок-Кара — Черный Колобок. Удивительно, не правда ли? Только что на свет божий появился человечек, а тот, кто дает ему имя, предугадывает, каким он будет.

Ко мне пришел предводитель моего детства. Нет, как он все-таки схож со своим именем! Посмотрите на щеки его. Будто он постоянно держит воду во рту. Руки и ноги короткие, движения медленные, уверенно-крепкие.

Тихо наблюдаю за Борбок-Карой, и на память приходит давнее и очень многое: исчезают прожитые годы, живыми голосами говорят давно ушедшие люди, мычат на летних и зимних стойбищах коровы. Четко вижу масти копей и коров, родные горы и долины. В моих ушах шумят давно спиленные деревья. Вижу скалы, дороги и тропинки, реки и ручьи родных нам Кайру-Бажи и летней стоянки Актел...

Борбок-Кара сел на табуретку рядом с моей койкой. Улыбается. Смотрит на меня. Радостно объявляет:

— Я тоже тут, в этой же больнице отдыхаю! Курортничаю, Барыс! Вот какова по-литика. — Он с детских пор любил при каждом случае вставлять в разговор слово «политика», и причем это у него получалось не слитно, а раздельно: «по-литика». — Но как дела, что случилось, парень, с тобой?.. Тяжелой работы ты давно не делаешь. Обманывая людей, мажешь чернилом по бумаге — даром получаешь много денег. При такой жизни разве можешь болеть так тяжело?.. Ой-ой-о-ой, как ты постарел!

Борбок-Кара сильно удивляется, как я постарел, а на себя-то не посмотрит. Годы и его не пощадили. Глубокими бороздами легли морщины на его узенький лоб. Под глазами бугрятся мешки. Больные почки, наверно.

Алтайцы об умершем говорили раньше, что он уехал в страну Кара-Тонош, за солью. Вот и я чуть не отправился за этой горькой солью. Но спасибо врачам!

Услышав голос Борбок-Кары, я чудом воображения оказался в Кайру-Бажи. Тело мое на больничной койке, а душа летит, бежит по косогорам и полям страны моего детства. Босоногим и полуголым мальчишкой шагаю, бегу, плачу и смеюсь, мчусь на коне, отчаянно дерусь со своими сверстниками.

Борбок-Кара, Борбок-Кара, однако ты странный человек. Оказывается, ты и болеть умеешь. Никогда я не думал, что ты можешь попасть когда-нибудь в больницу. Может быть, я зря предполагал, что твой организм из камня или железа?.. Ай Борбок-Кара, ай Борбок-Кара... Обожди, последний раз мы когда же встречались?..

А-а, вспомнил! И это дело было связано со стоянкой, с твоей работой. Верно ведь, это случилось не так-то давно. С того времени самое большее прошло лет десять.

Тогда мне пришлось написать о Борбок-Каре фельетон и опубликовать в нашей областной газете. После этого его чуть ли не судили. Таскали туда-сюда, но все же под конец отпустили. А дело было так: в урочище Кайру-Бажи, возле того самого единственного домика, в последние годы стала зимовать отара овец. За ней ухаживал Борбок-Кара.

Зима. Как в давние годы, трещал сильный сибирский мороз. Борбок-Кара, видать, не заметил, как несколько сот овец гурьбой зашли в загон, где хранился стог сена. А овцы — они не лошади и не коровы, ибо они могут из-за клочка сена затоптать друг друга. Упадет одна овечка, другая, и, наступая на них, полезут к сладостному и желанному корму остальные. Так погибли сразу более сорока овец.

Как быть, что теперь делать, как оправдаться?.. Очевидно, Борбок-Кара об этом много думал и страдал. И потому, не найдя другого выхода, он... запел. Запел?! Что за чушь, скажете вы. А он на самом деле сидел среди погибших овец и пел протяжную алтайскую песню.

В тот день случайно приехал в Кайру-Бажи совхозный ветеринарный врач Диман. И вот он с ужасом видит, как

чабан с ножом в руках сдирает шкуры с мертвых овец и при этом, словно ничего не случилось, поет песни. В руке чабана острый, сверкающий на зимнем солнце нож, а кругом красный снег. Ужас! — других слов не найдешь.

— Что это такое?! — крикнул Диман.

Чабан, перестав петь, замахнулся ножом. Молодой ветеринар, конечно, едва ли не потерял сознание от испуга.

— Руки вверх! — закричал Борбок-Кара. — Тебе ездить по стоянкам на хорошем коне, а мне вечно одному страдать... Ишь, начальник нашелся! Я тебе покажу, что это такое!

Ветеринар больше ничего не смог сказать человеку, у которого в руках обгаренный нож. Даже показалось — с лица Борбок-Кара брызгала кровь. Некуда деваться — пришлось ему бежать назад, к своему коню. А Борбок-Кара, как разъяренный барс, с рычанием бросился за ним. Хорошо, что Диману удалось вскочить в седло и ускакать в Кайру на совхозную ферму. Представьте себе, если ветеринар попался бы в руки чабана, что бы случилось, а?..

— Преступление! — закричал Диман, войдя в контору. — Почему вы доверили пасти совхозных, да еще племенных, овец, сумасшедшему человеку?! Ножом режет одну за другой и поет песни. Скажите мне, пожалуйста, что это такое, товарищ управляющий?

— Кто, где поет и каких овец режет?! — удивился управляющий. — О чем вы говорите, мой молодой друг?..

— Отправляйтесь немедленно! Сейчас же привезите его сюда! — Ветеринар Диман продолжал кричать, удивляя всех присутствующих в конторе. — Говорю же я вам, он там сидит и поет и режет овец одну за другой... Отправляйтесь, иначе всю отару зарежет.

В это время я в качестве корреспондента областной газеты приехал в родной Кайру и как раз сидел в конторе.

Прежде всего все, слушая истерические крики, глядя в глаза молодого ветеринара, которые, казалось, вот-вот, как две испуганные птицы, вылетят из своих гнезд, подумали, что парень заболел. Что случилось с молодым человеком, что с ним?.. Потом кое-как разобрались. Оказывается, он правду говорил. Вот именно тогда я и написал о халатности, даже о лентяйстве Борбок-Кары свой ужасный фельетон.

О высокий кудай-бог! Какой я тогда был наивный и торопливый! Очевидно, думал, что нашел для газеты ост-

рый материал. Молод был. Теперь ни за что бы не написал, скажу прямо, такую дрянь. Это же было горе чабана. Ведь он запел-то от большой боли и потрясения.

Борбок-Кара и сейчас чабанит. В том же урочище Кайру-Бажи зимует. Почему-то совхоз до сих пор на этой стоянке не построил нового дома. Но домик тот, где в годы войны жили семеро доярок и их дети, сейчас выглядит чуть лучше. Единственное окно не шкурками затянуто — застеклено. Приподнята и покрыта шифером крыша. Ничего, стал похож на дом. Старый, конечно, но на мир смотрит бодро, приподняв плечи. И еще — внутри домика не железная печь, а сложили кирпичную, русскую. В ней теперь можно печь сколько угодно душистого, русского, отличного хлеба. О, это великое слово «хлеб»...

За тех погибших овец Борбок-Кара кое-как, говорят, расквитался, но как именно, я лично не знаю. Помогли конечно же родственники Борбок-Кары...

Мой гость вдруг улыбнулся хитровато:

— Да, скажи ты мне, Барыс, за фельетон сколько ты тогда получил денег? Наверное, много, а?

Слыхали, каков мой друг Борбок-Кара? Не так уж просто он заявился ко мне. Издеваться он умеет.

— Ну-ну... не сердись, друг мой. Я так, от нечего делать просто говорю. Тфук! Забудь всю эту политику, — засмеялся Борбок-Кара.

Хорошее слово «друг». Вот и Борбок-Кара считает меня своим другом. Все-таки странно, когда так сильно я заболел, никто из городских друзей до сих пор не перешагнул порог этой горестной палаты. Никто из них не спросил и не позвонил: мол, улучшается ли твое здоровье, как идет лечение?.. Поскольку я до этого никогда не болел и в больницу не попадал, в серьезность моей болезни, наверное, они не верят. Может быть, я нужен им, когда здоров и трудоспособен? А вот Борбок-Кара, какой бы он ни был, пришел же ко мне. Он не только сам пришел, но с собою принес свежесть ветров и снегов родного нам Кайру-Бажи, хотя и трудную, но красоту нашего детства.

Борбок-Кара, Борбок-Кара — настоящий ты батыр и добрый ты человек!

А где теперь твой братишка Аткир? У него тоже не легкая судьба. В детстве он сильно болел и почти не поднимался с постели. Мне вспоминаются его уши. Они у него торчали, как у новорожденного теленка. Нет, скорее всего, как у горной козули. А как он страдал от первой

любви! Ты этого не знаешь, тогда ты был в армии, Борбок-Кара. А какой сильный удар нанесла по твоему юному сердцу твоя первая любовь, помнишь, друг мой, Борбок-Кара?..

Сидит передо мной совсем другой человек — тихий, добрый и глубоко задумчивый. Может быть, это не Борбок-Кара?.. Вместо него передо мной сидит какой-нибудь таинственный кудесник?

— Твоя мама была очень хорошим человеком, — вдруг сказал он. — Да, добрая была тетушка! И нету ее сейчас. Жалко! Сколько нас она жалела, помогала каждому, кормила.

Я ничего не мог ответить Борбок-Каре. Лишь посмотрел на него. А он, не глядя на меня, уткнувшись взглядом под ноги, продолжал:

— На похоронах твоей матери, прости, не смог быть. Занят был, в тайге находился. С этими овцами, сам знаешь, некогда взглянуть на солнце над головой, Барыс. А мать твоя хороший человек. Ничего плохого не могу сказать о ней. Когда она работала старшей дояркой в Кайру-Бажи, нас, детей остальных доярок, старалась выручить, не дать в руки голода. Настанет зима, она подонт свою белую корову и кобылицу своего старого отца, накопит молока и из него сварит эдегей-творог или сыр-быштак, сама не поест толком, раздаст всем поровну. Ба-та! — восклицает Борбок-Кара. — Какой вкусный был эдегей-творог и сыр-быштак! Их вкус и запах мне до сих пор помнятся.

Захотелось заплакать, но кое-как удержал себя.

— С тех пор я не ел такой вкусной еды! Запах той еды доныне живет в моем теле. Вот и сейчас все это я чувствую, хотя прошло много лет. — Он, рассказывая о доброте моей матери, дальше еще больше удивил меня и тронул. — Ба-та, друг, когда мне прочитали, как ты пишешь о своей матери, поверь мне, я чуть не заплакал. И вспомнил свое детство, свою маму. Жизни наших матерей были нанизаны на одну ниточку.

Да, Борбок-Кара прав — все они жили одним страданием, одной душой и желанием. Как и мы, их дети, постепенно лишившиеся матерей:

Зимуя первую зиму без матери —  
Очень холодно...  
Где бы ни сидел,  
Каждый смех чужой,  
Каждая шутка чужая

Кажутся мне издевательством,  
И от них мне больно.  
Без матери сердце мое —  
Не сердце, а кровавого мяса кусок.

Нет уюта вокруг меня,  
Войду в дом, выйду во двор —  
Под этим белым светом  
Будто я один остался совсем.  
Зимою, под холодную луну,  
Словно без шапки иду...

Ах, мамы, мамы... Какое трудное время и доля вам достались и как вы нас, безотцовщину — голодных мальчишек и девочек, — подняли, сделали людьми под высоким сводом белого света? Матери наши, дорогие, ласковые и добрые матери!..

Нет, я не зря говорил о том, что Борбок-Кара человек странный. Вдруг его печаль исчезла. Он стал веселым, посмотрел на меня и громко начал хохотать:

— Эй ты, парень, Барыс, помнишь ли старика Папая или ты его совсем забыл?

Как же мне не помнить дедушки Папая!

— А помнишь, как он утром открыл дверь и закричал: «Эй, Борбок-Кара, выйди сюда! Выйди ко мне, Борбок-Кара, я сообщу тебе большую радость!..»

Тут в палату вошла Ольга Петровна — мой лечащий врач:

— Что это за шум и смех, что тут происходит?!

Борбок-Кара, превращаясь опять в другого человека, тихо зашептал мне:

— Ты таким врачам особенно-то не верь, Барыс. — При этом украдкой взглянул на золотистые волосы и на большие голубые глаза Ольги Петровны, шутливо подмигнул мне краем своего небольшого правого глаза, несколько раз чирикнул звонко: «Чинг-чинг-чинг» и тихо шепнул по-алтайски: — Ай, какая бабенка, а?! По-литика!..

— А вы, товарищ больной, отправляйтесь-ка немедленно в свою палату! — скомандовала Ольга Петровна, покрасневшая от смущения.

— Ай, какая бабенка тебя лечит!.. Но все равно не верь ей, Барыс, — повторил Борбок-Кара, медленно приподнимаясь с табуретки. — Надо тебе ехать в тайгу, в Кайру-Бажи. Надо пить целебные воды родных гор, настоящей знаменитого теперь золотого корня. Вот тогда, воз-

можно, станет тебе лучше. — Наказав так, кивнул. — Пока. Завтра приду. Опять будем вместе вспоминать родной наш Кайру-Бажи, — и ушел...

## ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой я рассказываю об Ольге Петровне — моем лечащем враче

Я хотел было рассказать о некоторых смешных историях, случившихся с дедом Папаем и Борбок-Карой.

Почему решил дед Папай ранним зимним утром захватить к нам на стоянку, зачем ему нужен был Борбок-Кара, что за большая радость ожидала моего друга... Тут, как отрубленный острым топором аркан, прервалась моя мысль — вошла Ольга Петровна.

Впервые, когда я ложился в эту палату, состояние мое было очень плохое. Врачи долго гадали — что болит у меня, желудок или печень? Несколько дней подряд, кроме какой-нибудь жидкости, ничего я не мог есть. Теперь чувствую себя намного лучше. Можно сказать, что стал почти здоровым. После тяжелых и долгих мук, встав на ноги, как я не буду верить врачам, в особенности такой доброй и ласковой Ольге Петровне! Что бы там ни случилось, но своему доктору буду всегда благодарен.

Я встречаю Ольгу Петровну строчками мною любимого Назыма Хикмета:

— Здравствуйте, «Солома волос, ресниц синева»!

— Спасибо, — отвечает доктор, — но геронния этих строк — любовь великого поэта. Куда мне до нее, — лучась добрыми глазами, она обязательно улыбается.

Мне кажется теперь, что я выздоравливаю не только при помощи хороших лекарств, но и от этой улыбки. Лежа тут, ежедневно глядя на нее, невольно я написал такое вот стихотворение:

Как красиво улыбается  
Эта русская женщина:  
Улыбка ее белоснежных зубов,  
Улыбка глаз небесного цвета  
Наполнены добротой и красотой!  
Чье же счастье бережет она?..  
О боже мой, подумать только! —  
Вдруг с лица прекрасной России  
Исчезнет куда-то улыбка такая,  
Нигде никогда не покажется,  
Лаской этой никто не одарится.

Вместе с потерей улыбки этой  
Российские просторы бесконечные,  
Небо голубое над землею  
Станут вечно сиротливыми,  
Пустынными, одинокими.  
Если исчезнет такой смех —  
Красота человека  
И красота нашей земли  
Тут же погаснут,  
Бурьяном и пылью покроются!  
И умрет душа живая и добрая,  
Если исчезнет такая улыбка!

Доктор что только не предпринимала: ставила капельницы, около литра крови живой и свежей перелила — в общем делала многое. А теперь — «ты ей не верь...». Как это так, почему я не должен ей верить?

Разбросав поверх белоснежного халата золотисто-пышные волосы, она легкой и нежной рукой держит мою ослабшую руку. Иногда мне кажется, что она может вылечить человека всего лишь прикосновением, лучами глаз небесного цвета и звуками своего голоса.

— Кто это был? Мне кажется, обо мне он что-то сказал недоброе.

Почему-то я пошутил:

— Это был Борбок-Кара... Тибетский врач.

— Борбок-Кара? И чем он хотел вас лечить? — заинтересовалась Ольга Петровна и, подозрительно улыбнувшись, сказала: — Может быть, ваш «тибетский» врач хотел лечить сорокаградусной, а? Вам этого никак нельзя, иначе...

— Не-е, не сорокаградусной, — начал я тут же оправдываться. — Поедем, говорит, в тайгу. Буду, говорит, лечить разными травами, ничуть не хуже Ольги Петровны, говорит, буду лечить...

— Так, значит, к вам приходил тибетский врач, — засмеялась Ольга Петровна, — я и не догадалась, прогнала... а ваш новый врач не сулил ли лечить вас мускусом кабарги?

Тут я, конечно, вспомнил о том, как мы с Борбок-Карой и другими ровесниками из Кайру-Бажи когда-то ставили ловушки и петли на различных зверей, и в том числе на кабаргу.

— О-о, на петли этого тибетского врача много раз попадались эти мускусные зверьки. Он умеет с ними обращаться.

Ольга Петровна совсем недавно прочла книгу «Очерки

китайской медицины» и говорила, что там много любопытного.

— Какой бы интересной и ценной книгой она ни была, но я уверен, что мой Борбок-Кара ее не читал.

— Зря, — ответила Ольга Петровна. — Ведь интересно же знать, какими средствами и методами пользовались древние китайские врачи. В качестве лекарства применяли и золото и жемчуг. Больным давали «озолоченную» воду, то есть либо такую, которая стояла в золотом сосуде, либо ту, в которой лежало золото. А если золотую пыль употребить, смешав с маральей кровью или с медвежьим салом, то, говорят, хорошо помогает легочникам. Еще взять, например, так называемую «лунную воду», кто-то мне сказал, ею раньше пользовались и алтайцы. В лунную ночь на улице оставляли зеркало, а утром собирали с него всю воду и промывали глаза. Лечили трахому.

— Это сам я видел, — отвечаю Ольге Петровне, — как алтайцы утренней росой промывали глаза. Вот у меня был еще один друг, звали его Метиреем. Его больные глаза наши «врачи», как древние китайцы или тибетцы, промывали росой и дождевой водой. А еще в наших местах жил старик по имени Папай. Охотник знаменитый. Он всегда медвежьим салом растирал суставы рук и ног. И при этом утверждал, что организм, пропитанный медвежьим жиром, не боится никакого мороза, и любой простуды. Пример этот впоследствии перенял и мой друг Борбок-Кара.

— Значит, ваш друг — тибетский лекарь? — Ольга Петровна засмеялась. — В таком случае зачем бы ему лечиться у нас?

— Коль вы, Ольга Петровна, подвергаете сомнению древние методы лечения, то ради чего ими интересуетесь?

— Современная медицина всем интересуется, — серьезно ответил мой доктор. — Прежде надо изучить и лишь потом перенимать или отвергать. Для примера возьмите ту же тибетскую медицину. Ей около трех тысяч лет. В ней опыт древней Индии, Китая, Цейлона, Бирмы.

Далее Ольга Петровна увлеченно начала рассказывать, что тибетская медицина отрицает общие лекарства, пригодные для всех. Каждый организм — это особый мир. На земле не то что людей, нет абсолютно похожих двух цветков. Муравьи и те разные. К каждому организму надо относиться по-особому. Для того чтобы прикоснуться иглой к больному человеку, тот же тибетский медик, например,

учится около двадцати лет. И потому, наверное, такой врач знает свыше трех тысяч точек на человеческом теле, куда можно вводить иглоку без повреждения тканей и без особой боли тому, кто страдает недугом. Иглоукалывание — это есть одна из тайн, и этому мы должны учиться...

Глядя на Ольгу Петровну, почему-то вспомнил одну из семерых женщин, работавших доярками там, на вершине Кайру. Ее звали Кыйгас. Ее бархатисто-черные волосы были такими же длинными, пышными, как у Ольги Петровны, так же густо и красиво сверкали, переливаясь, на плечах и стройной спине. Женская красота не только во внешности, она прячется еще и во внутренней доброте. Но Кыйгас, молодая доярка, работавшая вместе с моей матерью, никогда так счастливо не смеялась, как Ольга Петровна. Ее жизнь и труд, судьба ее, конечно, совсем другие. О той прекрасной и молодой женщине, работавшей в годы войны в Кайру-Бажи, никто, конечно, не сочинял стихи. О ее волосах, например, никто не говорил: «Женщина расчесывала ночь». Потому что не только в маленьком Кайру-Бажи, но и во всей деревне Кайру почти не было мужчин. Некому было любить ее и восхищаться. Мужчины были на фронтах. Если бы вдруг среди тех семерых доярок появилась бы такая счастливая, с золотыми волосами женщина, я не знаю, что бы там случилось в то время.

— Лечебная сила есть и в серебре, — еще больше вдохновляясь, продолжала Ольга Петровна. — В индийском походе Александра Македонского один за другим стали умирать от какой-то болезни солдаты. Но почему-то военачальники не страдали от этой страшной болезни. Оказалось, их спасли серебряные фляжки, они питьевую воду хранили в них. — Мой доктор вдруг осеклась: — Болтаю и болтаю, а вы, вижу, меня давно не слушаете! Что такое, о чем вы так усердно думаете?

Не ответив на ее вопрос, уклончиво улыбнулся я:

— Наверное, космонавты в свои полеты берут «серебряную» воду, а?

— Да, да, вы не смейтесь, пожалуйста, об этом я тоже читала.

Хотя я гляжу на Ольгу Петровну, но в это же время четко вижу ту избушку в урочище Кайру-Бажи. Предомной лицо Ольги Петровны, ее ослепительно белый халат. А где-то там, за этим лицом и халатом, мерещатся густые черные, как почва, волосы Кыйгас. А из-за них друг за другом появляются лица остальных женщин-доярок, их вечно

печальные глаза. Какие костлявые и беспомощные их плечи! Именно вот на этих плечах невидимым грузом лежат судьбы родного колхоза и даже страны, будущее их маленьких и голодных детей. Как я такое забуду и когда смогу забыть, Ольга Петровна, «Солома волос, ресниц синева»?..

Ольга Петровна, какие красивые и белые у вас пальцы. В те годы я таких пальцев никогда не видел, поверьте. Ольга Петровна, ваши ногти покрыты красным лаком. В мочках ваших ушей, как две луны, ослепляя меня, горят золотые серьги. И что делать, опять я вижу худые, потрескавшиеся руки наших матерей, живших в немыслимом для вас урочище Кайру-Бажи. Вечерами и утрами, зимою и летом пальцы тех женщин доили коров, крепко держали вилы, которыми до войны мужчины метали большие и высокие стога. Руки их умели делать все: схватив за хвосты и головы, поднимать на ноги от худобы и бессилия упавших коров, тяжелыми лопатами вычищать навоз. Снова мне видятся сквозь годы их рваные овчинные шубейки. А какая была грязь, особенно после больших ливней на летних пастбищах. Утопая в ней во время дойки, в холодные осенние дни наши матери ходили без обуви. Я вижу их грязные, облепленные черной глиняной жижей ноги, покрасневшие от холода, вымытые росными травами...

Ольга Петровна, Ольга Петровна... Поймите меня, простите меня, мой доктор, добрая, красивая, «Солома волос, ресниц синева». Я закрыл глаза. Я в самом деле хочу спать, я столько ночей в своей жизни не спал.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

где я решил рассказать о дедушке  
Папае, его русском хлебе  
и о страшной судьбе Текемея,  
моего ровесника

Эх, Борбок-Кара, Борбок-Кара. Дверь моей палаты не один ты открыл, через ее порог перешагнул не один. Ты с собою принес легкий гул ветров над нашими полями, отзвуки громов и отблески молний, что прошли грохоча над нашими черными головами. Прохладу темно-голубых кедров и остроконечных елей, запах парного молока услышал я, и голова закружилась. Ты принес цветение многих весен, шорохи и скрипы белогривых зим забытого мною Кайру-Бажи. Слышу я знакомый с детства запах алтайско-

го архи-сыра, чую горьковатый дым над юртой. Тонким, чуть заметным туманом он тянется на фоне летнего голубого неба. Я слышу ржание коней и мычание коров.

Борбок-Кара, разве не видишь мальчишку, у которого рубашка почти истлела, разве не видишь его немытое, грязное лицо? Так-то он белокожий мальчик. Но из-за дня в день копает он норы кротов и сусликов, чтобы ставить на них свои капканы. Это — я, мое детство возвратилось ко мне. Ты его привел, Борбок-Кара. Рядом с тобой стоят еще двое. Одного из них, у которого совсем нет рубашки, спина и ребра испачканы землею, зовут Метирей, он один из четырех детей вдовы Кару. А рядом с Метиреем стоит Паша, сын другой вдовы, Тообос. Все руки у него, как чешуя рыбы, в твердой коросте. Это тоже оттого, что каждый день ему приходится копать норы тех же зверьков. У всех такие руки — в трещинах, как зимняя земля, расколота морозом.

Паша надел какую-то очень грубую рубашку. Видать, сшита из материала, из которого делают лишь мешки. Поверх рубашки тонюсенький кожаный ремень. За него он ловко ряд за рядом умудрился прицепить убитых им сегодня кротов и сусликов.

Ранняя весна. Середина месяца возрождения — апрель. Снег на склонах гор растаял. А в лесу и на полях земля пестрая. В некоторых местах снег сошел, а в некоторых — еще держится. Вот в такую пору Паша, Метирей и я во главе с Борбок-Карой выходим на охоту. Из Кайру-Бажи спускаемся ниже. Тут солнце ярче, теплее. Склоны гор освободились от снега. Стало быть, уже просыпаются от зимней спячки суслики, начинают бегать по старым норам-коридорам, искать себе сладкие корни. Роют новые ходы, выбрасывая наверх земляные стожки. А кроты и суслики в то время были наравне или даже дороже золота. Прежде всего мы ловили их ради мяса, чтобы от голода не умереть. А потом, когда сдашь шкурки в госторг — вот тебе и праздник! В нашем колхозе «Яны-Дьол» — «Новый путь» — в то время не то что муки и сахара, даже чашки ячменного зерна не было. А мы, ребята, сдавали в госторг шкурки кротов и сусликов, за это получали муку, сахар и помогали семье. Подумать только! Не то что мы, мальчишки-полусироты, даже взрослые, например, как дедушки Папай и Ярын, каждому более чем по семидесяти лет, и те охотились за этими ничтожными зверьками. Если человеку трудно, если он во что бы то ни стало хочет выжить, видеть над головой солнце, дышать воздухом родной земли, дождаться

ся возвращения своих отцов, сыновей и братьев, поверьте, он перешагнет невозможное. Одна из самых страшных бед на земле — это голод.

Из семи доярок, работавших в Кайру-Бажи, самой пожилой была тетушка Тудар. В связи с нашей охотой на кротов и сусликов мне придется вспомнить о ее сыне Текемее.

Текемей промышлял с нами вместе. Но ему, надо сказать, было значительно трудней и горестней. Потому что у Текемее было особое задание, попробуй не выполнить. Он каждый день должен был ловить не менее десяти сусликов и кротов. Таков наказ матери. Если Текемей приносил, например, семь сусликов, мать не то что его кормить, а в дом не пускала.

— Ночуй где хочешь! Не показывайся мне! — сероватые глаза тетушки Тудар сверкнули холодным льдом. У нашего друга и ровесника Текемее были такие же, стального цвета, глаза, как у матери.

Если Текемей приносил домой восемь сусликов и кротов, то мать его пускала ночевать, но не кормила. Друг наш это знал заранее. И потому, войдя в избушку или в юрту, тут же, закрыв голову старой овчинной шубой, ложился спать. В тот день, когда Текемее удавалось наловить девять сусликов, домой он возвращался с легким сердцем. Мать сегодня его пустит в дом и покормит, хотя все же останется еще одно наказание — разговаривать с сыном не станет.

Тяжело и горестно бывало Текемее, когда он убивал меньше восьми кротов и сусликов. Солнце, возвращаясь домой, своими лучами коснется хребтов западных гор, суслики, перестав бегать, спрячутся в своих теплых норах, плохо станет на душе Текемее — ему некуда деться. Как теперь идти домой, какими глазами смотреть на мать?.. Часто, чуть не плача, он просил:

— Если завтра я перевыполню свою норму, то возвращу обратно. Дайте мне сегодня по одному суслику или кроту...

Сперва мы жалели его и просьбу выполняли. Даже наш предводитель Борбок-Кара установил между нами очередность: сегодня, скажем, я, завтра — Метирей, послезавтра — Паша, затем сам Борбок-Кара давали Текемее сусликов и кротов. Но каждый раз выручать его было накладно. Мы хорошо знали, что шкурки, отданные Текемее, завтра станут сахаром и мукой.

Не могу сказать, что тетушка Тудар была жадной. Она так безжалостно относилась только к своему сыну. К чужим детям была ласковой и доброй. Ничего для них не жалела, была щедрой, даже чрезмерно. Например, если мать моя уедет куда-нибудь, то за нашей маленькой сестренкой следила тетушка Тудар. Она не только молоко и сметану давала ей, даже кормила испеченной в жаркой золе мягкой мучной лепешкой. Много раз она спасала от голодной смерти младшего братишку Метирея — маленького чумазого Малайта...

Однажды, как Текемей ни унижался и ни плакал перед нами, мы ему перестали давать своих сусликов и кротов. Он был самым хорошим ловцом и охотником. Занимал после Борбок-Кары второе место. У него и капканов было больше, чем у нас.

После нашего отказа он перестал ходить на охоту с нами. Промышлял отдельно, но недалеко от нас. Сперва мы как-то не заметили, что он хитрит. Но позднее все выяснилось. Оказывается, он решил одновременно заниматься двумя делами: следить за нами и за своими капканами.

Однажды Борбок-Кара сказал:

— Давайте сегодня будем следить за Текемеем.

— А что случилось? Пусть сам себе ходит, зачем следить за ним?

— Пока не спрашивайте.

Мы специально с шумом и гамом прошли недалеко от Текемея, будто идем купаться. А спустя некоторое время, крадучись, укрываясь за холмиками и бугорками, тихо поднялись по глубокому логу к своим капканам. Ждать долго не пришлось. Вдруг смотрим, низко пагнувшись к земле, бежит от норы к норе, от капкана к капкану Текемей. Ба! Он берет одного из сусликов, попавших в наши капканы. Послышался вдруг грозный голос нашего предводителя:

— Коршун, таскающий сусликов, попавших в наши капканы, оказывается, это ты? — При этом так же, как дед Папай, мягко засмеялся Борбок-Кара: — Ке-ке-ке, Текемей, а Текемей...

Текемей проглотил язык. Стоял и трясся, глядя под ноги, держа в руке мертвого суслика. А когда Борбок-Кара схватил его за руку, от испуга он заорал:

— Ма-ма, ма-ма!

— Тут нет твоей матери, — спокойно сказал Борбок-Кара. — Что скажешь, а, Текемей? Ке-ке-ке..

— Я боялся матери. Сегодня она опять не пустит в дом, опять не будет говорить со мной.

Мы знаем, что наказание тетушки Тудар отличается от всех других наказаний. Но она никогда сына своего не била. Только не будет пускать в дом, кормить и разговаривать не станет, пока он не выполнит свою «норму».словно ее тонкие губы прилипли друг к другу. Иногда кажется, что она своими крепкими зубами их прикусила, чтобы молчать как можно дольше. Не от ветров и мороза Кайру-Бажи потрескались ее губы, а оттого, что зубами их стискивает, чтобы не говорить со своим родным сыном.

— Каждый дайте по тумаку Текемею, — приказал Борбок-Кара.

Мы ведь тогда были дурачками. Ни о чем не думая, подошли к вору и начали колотить, а Текемей присел, начал хныкать, просить прощения:

— Бейте меня, еще раз бейте. Заберите сегодняшних моих сусликов и кротов, но только не говорите матери...

— Нет, нам не нужны твои суслики! — от имени всех сказал Борбок-Кара. — Плюньте по одному разу в лицо этого коршуна, попавшего наконец в наш капкан! Свою бесстыжую морду подставь моим орлам, Текемей!

Мы знали, что от плевка лицо не опухнет, синяков никаких не будет. Тем не менее никто не решался плевать. Каким-то смутным и далеким чувством каждый из нас понимал, что нет горше позора и унижения, чем плевать на человека.

— Барыс, плюнь на него первым!

Когда я отказался, Борбок-Кара, отпустив Текемею, дал мне своим мощным кулаком подзатыльник:

— На тебе, коль жалеешь жадного коршуна! Подойди сюда и плюнь, Метирей!

Когда отказался и тот, улыбнулся Борбок-Кара и круглым подбородком кивнул на Пашу:

— А ты что там стоишь?

Кажется, он заранее догадался, что и Паша не станет слушать его. Борбок-Кара сказал Метирею:

— Иди и бей этого упрямца!

Метирей даже с места не стронулся.

— А-а, значит, вы такие, да?! — Наш предводитель посмотрел зловеще. — Этих вонючих сусликов бей всех, Текемей, топчи ногами, плюнь на них!

Но Текемей, виновато нагнув голову, стоял на прежнем месте. Ничего не добившись, Борбок-Кара подходил к каж-

дому из нас и бил кулаком. Завершив свой суд, он опять приблизился к Текемею.

— Если поймаю тебя еще раз, — сказал он, вытаскивая из ножен свой сверкающий на солнце белый и острый, как бритва, нож, — если еще раз будешь воровать,отрежем твою руку! — Он сказал «не отрежу», а «отрежем». Значит, он выражал и наше мнение. — А теперь дуй отсюда!.. Дуй, говорю, что ты мозолишь глаза?

Текемей неожиданно заплакал и опустил на землю. Сквозь слезы умолял и просил нас:

— Только не говорите матери. Не говорите, пожалуйста, матери. Не говорите... я... я...

— Мы не будем говорить! — от имени всех нас сказал Паша. А Борбок-Кара, хотя и ужалил Пашу глазами, но ничего не сказал.

— Возьмите меня опять, — просил Текемей, — я хочу быть всегда с вами. Большие никогда у вас просить сусликов и кротов не буду. Я... я...

Хотя мы тогда ничего ему не ответили, но со следующего дня стали, как прежде, ходить и охотиться вместе.

Наверное, есть особая, какая-то тайная жалость у судьбы к человеку. Текемей иногда даже стал опережать самого Борбок-Кару. В удачливые дни он убивал по пятнадцать и даже шестнадцать голов. Но Текемей — не мы, он не будет хвастаться своей добычей. Привык быть хитрым. Лишних он оставлял при себе, прятал. Как знать, удачен ли будет завтрашний день? Если Текемей не выполнит свою норму, то излишки вчерашнего дня спасут его сегодня. Будет идти с нами легким шагом.

Долгое время я не понимал и не мог открыть секрет — почему сын тетушки Тудар обязательно должен ловить не менее десяти сусликов и кротов. Если бы у нее было очень много детей, то ясно. Но при ней, кроме Текемея, — никого, остальные два сына на войне. Почему она так поступает? Что это за странный, по меньшей мере, характер? Наверное, горе проклятой войны, страшный голод нарушили что-то в мозгу старой женщины. А может быть, как говорят алтайцы, внутренний дух ее тронулся? Кто знает...

Однажды Текемея постигла неудача — он убил пять или шесть сусликов. Эх! Каким жестоким бывает иногда сердце человека!.. Текемей робко попросил зверьков взаимы, но мы помнили еще его воровство, а Борбок-Кара вытащил из ножен и показал ему отточенный нож. Не сердца тогда были у нас, а холодные камни.

Бывало и до этого, что Текемей не возвращался с нами домой, а оставался один на стане, где мы охотились, и ночевал в брошенной, пустой старой избушке. В то время на это мы не обращали внимания. Это было в порядке вещей.

Назавтра, ни о чем не думая, будто ничего особенного не случилось, мы вернулись на место своей охоты и, открыв дверь старой избушки... Нет, такого я после, клянусь, никогда не видел и видеть не хочу! Когда мы открыли дверь — темно-синий, припухший большой язык Текемея вылез как-то страшно изо рта и висел где-то возле нижней челюсти, а ноги его едва касались земляного пола избы — друг наш повесился на ремне от своих штанов.

О бог ты мой, его язык был похож на суслика, который намеревался войти в свою пору...

...А кто таков дедушка Папай?

Во-первых, он знаменитый охотник. И его друг старый Ярын тоже охотник. Если речь зашла о Папае, то возле него обязательно возникнет и оживет дед Ярын. Жизнь и судьба людей Кайру похожи на подземные корни деревьев, которые переплелись, перекрестились древними и долгими нитями.

Папай и Ярын, конечно, охотились не только за кротами и сусликами. Они сваливали и больших зверей. Под их пули чаще всего попадались горные козули и кабарга. Вдвоем они изредка, но убивали даже медведя. В те трудные годы в наших местах целыми стаями рыскали волки. Они хозяйничали как хотели — в страхе держали людей и скот.

Волки... Они приносили людям беду за бедой, но в то же время — от кого и зачем теперь скрывать? — даже помогали людям.

Не боясь и не слушая яростных криков пастухов, не страшась множества костров, которые ярким пламенем горели там и тут возле отар овец или табуна лошадей, они, эти жадюги, нападали и с ходу перерезали глотки животных. А за скот надо держать ответ и платить за него колхозу. Чем и как платить каждый раз? Если стая волков нападет на скот, то на одном месте перережет не одну корову или овцу, а едва ли не десятку. Платить за скот, сражаться день и ночь с хищниками — одна из самых главных бед и забот женщины и даже детей в тылу. Легко ли выслуши-

вать ругань колхозного начальства? Иногда приезжали милиционеры, допрашивали пастухов — почему и как допустили халатность, вредительство?..

Так в чем польза волков для людей?

Волк никогда не трогает худой, больной скот. Мимо промчится, чтобы догнать и свалить самых сытых. Всю тушу, конечно, волки не съедят. А оставшееся от них мясо достанется пастухам. Что тут скажешь, это горе и радость голодных скотоводов и их детей. Разве это мало для человека?

Уничтожать волков было одной из основных проблем того времени. И потому решением колхозного собрания за каждого убитого волка давали по одному барану, только шкуру надо было обратно вернуть хозяйству. Убивший волка считал себя счастливым. Кроме барана, он ведь сдаст госторгу волчью шкуру и получит за это деньги или что-нибудь из съестного.

А если охотник выследит и найдет гнездо волчицы, убьет сразу нескольких волчат, то он сразу, можно сказать, станет богатым человеком. Умный охотник не сразу убьет волчьих щенят. Он будет ждать волчицу: хоть она и страшный зверь, но в груди ее все же материнское сердце. Когда волчица прибежит, услышав плач своих детей, тут-то встретит ее пуля охотника. Умей стрелять, охотник, иначе станешь сам жертвой матери-волчицы!.. Но Папай и Ярын умели стрелять, их пули не падали на пустую землю. Потому-то искры счастья чаще всего в те годы зажигали их очаги.

«Ке-ке-ке, Борбок-Кара, эй, Борбок-Кара, — сквозь долгие годы и пространства доходят до меня мягкий, хриловатый голос и смех дедушки Папая. — Ке-ке-ке, Борбок-Кара, открой-ка, покажи-ка мне свою торбочку, я посмотрю, что там лежит, а?.. Ке-ке, Борбок-Кара...»

Наш предводитель и друг был весьма и весьма хитрым. Его быстрые руки доходили не только до капканов дедушки Папая, ставленных на сусликов, но и до его арчимаков — переметных кожаных сум, где охотник хранил свои припасы. А что, наш Борбок-Кара знает, где и откуда достать то, что надо. По сравнению с нами у Папая все есть, богат он. Быстрые руки Борбок-Кара, коль не поинтересуются его арчимаками, коль туда не полезут, то чем же займутся еще?!

Однажды мы сидели под деревом, на костре жарили мясо сусликов и кротов. Вдруг внезапно возник, подъехал

на своем темно-сером коне Папай. Конь его был крупным и сытым. Сидит Папай, с улыбкой смотрит на нас, как с вершины большой горы.

Заметив его, Борбок-Кара быстро поднялся и хотел было убежать, но голос деда тут же остановил нашего батыра.

— Ке-ке-ке, Борбок-Кара, эй, Борбок-Кара, не убегай, милый, — сказал неторопливо Папай. — Ке-ке-ке, Борбок-Кара, ведь пуля моего ружья бежит быстрее тебя.

Что делать тут бедному Борбок-Каре? Он замер. Можно сказать, умер стоя. Мы тоже встали и молча следили то за мягко улыбающимся дедом Папая, то за холодными глазами нашего друга и предводителя. «Что же ожидает нашего вождя?.. Как бы дед Папай его пулей из своего ружья...»

Папай, не прекращая улыбаться, медленно свалился со своего огромного коня, так же медленно подошел к Борбок-Каре и длинными, крепкими пальцами схватил его за уши.

Борбок-Кара скрючился, приоткрылись его толстые губы, показывая желтые, как у полевых грызунов, зубы. Конечно, он не нарочно сделал так. Когда Папай крутил его уши, от жгучей боли рот его сам по себе открылся. Пальцы Папая как железные щипцы.

— Открой, Борбок-Кара, свою торбочку. Открой, говорю, я посмотрю, Борбок-Кара, что ты там прячешь, а? — И в это же время он не отпускал уши нашего предводителя, продолжал крутить их и мять. — Давай-давай, Борбок-Кара, открой-ка торбочку, мне очень хочется взглянуть туда, ке-ке-ке...

Делать нечего. Не то что Борбок-Кара, даже матерые волки не могут уйти, попавшись в капкан деда Папая.

И когда Борбок-Кара развязал узлы своего мешка, то все мы увидели, помимо убитых сусликов, русский хлеб со следами зубов нашего предводителя.

— Я ведь знал, ке-ке-ке, — Папай засмеялся еще теплее, еще мягче. — Ты, Борбок-Кара, вонючий щенок, с каких пор привык кушать русский хлеб?.. Скажи мне, объясни, щепочек? — Старик еще пуще начал крутить уши нашего вождя и друга.

Мы глядели на это, и наши собственные уши начали больно гореть, а колени наши, как пруттики, тряслись. Может, тогда мы вспоминали Текемея, тот день, когда за воровство его бил сам Борбок-Кара.

— Плачь, Борбок-Кара! — хрипел Папай, не отпуская его уши. — А ты, оказывается, плакать не умеешь? Плачь, говорю, плачь! — Но Борбок-Кара молчал по-прежнему. — Скажи мне, Борбок-Кара, с каких пор ты научился есть русский хлеб?! Может быть, русским хлебом тебя кормит мать, Кажакай, а? Если еще раз ты протянешь руку в мой арчимак, то знай, останешься без ушей. Будешь ходить как комолая корова, Борбок-Кара!..

Но наш предводитель ему слова своего не дал. Из небольших круглых и черных глаз не выдавил ни капельки, ни зернышка слезинки.

Ай, Борбок-Кара, Борбок-Кара — наш вождь и батыр!

Теперь хотелось бы мне спросить у нынешнего поколения людей: если бы такой же старый дед, как дед Папай, сегодня бы крутил ваши уши, как бы вы отнеслись к нему? Живо ли сегодня то почтение, чтобы старика уважать и бояться?..

Но между Папаем и Борбок-Карой, кроме той встречи, были и другие. Они, правда в редких случаях, жалели друг друга и помогали один другому. Даже, бывало, хвалили и славили самих себя.

Доброжелательство проявил Папай и в тот самый день, когда он ранним зимним утром приехал к нам на стоянку.

Старый охотник добывал косуль и волков не только при помощи ружья. Постоянно ездил он по горам, находил следы диких зверей или предвидел, какими путями они будут ходить, и на тех местах умело ставил капканы, петли из крепкого провода, а иногда даже и самострел.

Перед тем как приехать в нашу избушку, он по пути проверял петли и капканы. В один из них попал волк и замерз, как лед. Какие-то звери, может сами же волки, съели его заднюю часть. Осталась голова да грудь. Уезжающий в дальнюю дорогу Папай, видать, поленился возиться с мерзлым волком и решил отдать его Борбок-Кару. А в это время наш старший друг сам начал ходить по следам зверей и ставить на них, как Папай, петли и капканы. Так что доверить ему можно было...

Итак, Папай крикнул:

— Борбок-Кара, выйди сюда, хочу тебе сообщить радость. Дарю счастье тебе!

Наш вождь, услышав знакомый голос, испугался. Может быть, еще что-нибудь случилось, как знать? Но все же высочил из избушки.

Во дворе трещал и скрипел зубами лютый мороз. У Па-

ная шуба большая, мохнатая, а на ногах теплые новые кисты из лап горных коз. Жидковатые усы охвачены снежной пылью. А Борбок-Кара перед ним стоял в одной рубашке, скорчившись от мороза. Глянув на него с высоты, Папай привычно засмеялся:

— Ке-ке-ке, Борбок-Кара, ты, оказывается, настоящий батыр! — похвалил он и дальше сказал: — Ты ведь хорошо знаешь местечко Кызыл-Шин. Вот там в капкан попал волк. Ты сам становишься большим охотником. Притащи его, нагрей хорошенько возле печки и сними шкуру. Скажи, что сам убил. Колхоз тебе даст овечку. Целый баран, думаю, это получится куска хлеба. — Сказав так, Папай отправился дальше на охоту.

У семерых доярок, живших в урочище Кайру-Бажи, были две лошади — кобылица рыжей масти, очень пугливая, если случайно отпустишь, то почти невозможно поймать; и серый конь — меж четырех ног у него пройди, не пошевелится. Смирный очень. Ой, но что же был за характер у рыжухи! Чем иметь такую лошадь, лучше ничего не иметь.

— Дьявол, эдакий дьявол! Иметь бы сейчас ружье, на месте застрелила бы! — отпустив рыжуху, каждая из наших матерей не раз проклинала ее.

Рыжуха была очень осторожна, пуглива. Идет и всегда настороже, будто на обочине дороги ее ждет сам страх. Вынюхивает, прислушивается, стрижет ножницами-ушами и вдруг ни с того ни с сего прыгнет, бросится в сторону! Кто только с нее ни падал. Так что всегда надо было быть начеку.

Борбок-Кара, услышав приятное сообщение деда Папая, забыв плохой нрав рыжухи, быстро сел на нее и по снежным полям помчался в Кызыл-Шин, по следу старого охотника.

Мы ждем его возвращения...

Глядим — мчится рыжуха, оглядывается и фыркает, выбрасывая из широченных ноздрей белые облака пара. Борбок-Кара на ней, покрасневший от испуга и холода. Он левой рукой держится за переднюю луку седла, а правой старается управлять уздой ошалелой лошади. Голова рыжухи высоко крутится, грива и хвост выются по разным сторонам, слившись с вольной пургой. А глаза вот-вот выскочат из глазниц. Летит рыжуха, фыркает, храпит, оглядывается и еще сильнее прежнего мчится. Невозможно ее остановить! А за ней, на конце длинного черного аркана, тащится волк, туда-сюда по кочкам ме-

чется, подпрыгивает. Оглянется рыжуха на волка и опять летит неудержимо...

Позже выяснилось, что еще издавека рыжуха почуяла запах волка и не то что дать навьючить его на себя, но даже приблизиться к нему не захотела. Тут наш находчивый Борбок-Кара решил перехитрить рыжуху.

Слез с нее, отвязал с тороков аркан, одним его концом прочно привязал мертвого волка, а другой конец особым способом алтайцев прижал к седлу и двинулся вперед. Тут рыжуха, заметив, что за ней гонится волк,—пустилась, спасаясь, во весь дух к родному дому. Не глядя, что перед ней деревья, задевая за них, перепрыгивая через бревна и кустарники, летела стрелой. А наш бесстрашный предводитель и друг решил лучше умереть, чем отпустить другой конец аркана, оставив на горной круче замерзшего волка.

Ай, Борбок-Кара, ай, Борбок-Кара, мужественный маленький кормилец наш!

Вскоре Борбок-Кара кормил всех нас бараниной, которую получил за волка. Мы были рады и благодарны ему. Но вслед за счастьем и радостью, как известно, всегда подкрадываются горе и беда.

Мстительнее и злее волков, я впервые понял тогда, нет других хищников. Жестокие и безжалостные они. Волк похож на человека, потерявшего совесть. Им командует лишь черная и страшная мысль. Дьявол и сам злой дух в нем живут!

После того, как Борбок-Кара приволок волка, который попал в капкан дедушки Папая, случилась страшная месть. Думая об этой мести, вспомнил я рассказ одного знакомого кинооператора. И опять же о жестокости и коварстве волка.

В его новом фильме должна была быть сцена о единоборстве матерого волка и человека. Потому-то киноматерики ежедневно ходили в зоопарк, приучая волчонка-артиста к его роли. И артист-охотник знакомился со своим партнером-волком, чтобы зверь знал его и к нему привык.

Волчонок трудно поддавался дрессировке. Но постепенно дружба между ним и актером крепла. Прошел почти год и настал наконец день съемки опасного эпизода схватки. Волк яростно должен был кинуться на человека. Актер для безопасности надел специальную одежду и у него были подстраховщики.

— Мотор! — дал команду режиссер.

Выпустили волка. А волк промчался мимо артиста, с которым должен был сражаться, и неожиданно почему-то напал на режиссера. Его кое-как удалось спасти от разъяренного и злого зверя.

Что вдруг случилось с волком? Ведь его целый год готовили, дрессировали на роль, чтоб он дрался с актером?!

Позднее все выяснилось. Оказывается, в первые недели работы, когда волк был совсем маленьким, режиссер его сильно обидел. Во время тренировки волчонок то ли устал, то ли была другая причина, но он даже глаза открыть не захотел. Режиссер нервничал, курил, сердито ходил туда-сюда. Вдруг он ни с того ни с сего горячим концом своей папиросы ткнул в нос волчонка. И хотя прошло около года, звереныш этого не забыл. Запомнил своего врага. Он жаждал мести. Волк не собака.

Он даже умеет издеваться. И если захочет отомстить, то предпримет любое коварство.

...Прошло немного времени, как Борбок-Кара приволок того волка, что попал в хитрую ловушку деда Папая. В один из дней (такой зловещей беды никто не ожидал!) недалеко от нашей избышки, возле коровьего загона, истекая кровью, лежала наша рыжуха. Смотреть страшно!

Волки ночью разодрали ее.

— Если бы ты не ездил за этим проклятым волком Папая! — Люди нашей печальной стоянки, в том числе родная мать его, тетушка Кажакай, дружно стали обвинять Борбок-Кару. — Подумай и скажи, кто, кроме Папая и тебя, Борбок-Кара, кто тут еще виноват?..

Коль так поступили волки, значит, ожесточились они... Озлились! Добра и пощады от них теперь не жди! О боже, что делать, что делать-то? Гром и молния вот-вот упадут опять на непокрытые головы наших бедных матерей.

Что ты наделал, Борбок-Кара, почему об этом не думал раньше, Борбок-Кара?! Как теперь быть, что случится с нами?..

Эй, покоряемся, благослови пас, великий Алтай! От имени своих несчастных и беспомощных детей обращаемся к тебе, низко преклоняем колени, просим смиренно, Алтай, останови своих хищников! Освободи нас от приближающейся беды, от зла и жадюги побереги нас?!

Эй, восседающий на дне неба великий кудай-бог, если видишь нашу беду, горе наше, страдания и горькие слезы наши, то хоть один раз помоги?! Все мы, смиренно сняв

свои шапки, молимся тебе, только от тебя, великий и мудрый, ждем помощи, надеемся, просим, пощади бедных и голодных женщин?!

Алтай молчал, и горы его молчали...

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ — о моем старшем сыне

Дни проходят за днями. И вот в палате новый, очень дорогой мне посетитель — мой старший сын.

Теперь все дети рослые и стройные, и мой сын, кажется, скоро достигнет неба. Наши дети босиком по снегу не ходили, рваную одежду не носили. И конечно же тяжелой работы не видели. По-другому растут, чем мы, их родители.

С рождением первенца мук мы натерпелись предостаточно. Возвратившись со службы с Дальнего Востока, остался я в городе и работал первый год. Не было квартиры. А жена уже находилась в роддоме. Родится завтра ребенок, куда его везти, где жить?.. И до этого я множество раз ходил и бегал в горисполком.

— Вы не одни, даже более заслуженных и солидных людей не можем обеспечить квартирами. Не надейтесь, не просите и не ждите, — твердо отвечали мне. — Мы мало строим. К тому же работа эта идет очень плохо.

Это действительно было так. В то время наш город — столица автономной области — был сплошь деревянным и новые дома почти не строились.

И вот у нас родился сын, первенец. А я жену не выпысываю из роддома. Действительно, когда нет крыши над головой, куда мне деть новорожденного?.. Думал, гадал, страдал я и под конец решился — впервые в жизни перешагнул порог кабинета первого секретаря обкома партии. Сказать честно, я не перешагнул, а без разрешения и без предварительного доклада вбежал, ворвался в его кабинет, иначе кто бы меня пустил туда? Порог этот высокий хотя бы перешагнуть многие, и у них, наверное, другие, более важные и серьезные проблемы, чем несчастная квартира и рождение первого сына. Но у меня не было другого выхода. На улице мороз, поздняя осень. Теперь у нас маленький ребенок, поэтому, как раньше, мы никак не можем жить в чужом сарае.

Тогдашний первый секретарь обкома неплохо относился к работникам литературы и искусства. И меня, только

что делавшего в литературе первые шаги, он принял хорошо, даже, можно сказать, ласково. Когда я вошел в его кабинет, то увидел крупного человека с густыми и седыми волосами.

— Что с вами, молодой человек?.. Не волнуйтесь, садитесь вот сюда, — приподнялся он и указал на стул, не отводя от меня внимательных глаз.

Я сел, вздохнул глубоко, чтобы прийти в себя. Погодя с большим трудом и волнением рассказал, зачем явился. Он спокойно выслушал и тут же пригласил в кабинет каких-то незнакомых мне людей. Нет, впрочем, одну женщину я знал — заместитель председателя горисполкома по жилищно-бытовым вопросам.

— Вот, товарищи, познакомьтесь, — представил меня первый секретарь, — перед вами наш молодой, начинающий писатель. У него родился сын, а жить негде...

Честно признаться, до этого я никак не думал, что заместитель горисполкома, вот эта женщина, умеет так ласково и нежно улыбаться, так легко и плавно ходить и двигаться может. Конечно, она не мне так улыбалась. Оттаяла она и преобразилась перед первым секретарем обкома. Ведь совсем недавно я был в кабинете у этой же женщины. Она только на миг приподняла свою голову, увенчанную тяжелой прической, и тут же, нагнувшись, стала перебирать какие-то бумаги. Я стоял, ожидая. Наконец-то она вздохнула тяжело, посмотрела без тени улыбки и участия холодными серыми глазами на меня и сказала решительно: .

— Что вы бегаєте сюда? Я вам, кажется, ясно ответила, что нет у нас квартиры! Даже нужных нам специалистов не можем обеспечить, понятно вам?..

Кто же они, эти непохожие на меня, очень нужные для нашей области люди?.. Как знать, возможно, на них держится земля Горного Алтая? Но неужели и я не нужен ему? Неужели мне ехать в другое место? Но здесь моя родина, я хочу помогать ей своей работой...

— Роман Александрович, — заговорила она сейчас ласково, — если этот молодой человек — писатель, то как же он будет писать романы, коль нет квартиры?! Мы постараемся ему помочь, Роман Александрович... Роман Александрович, мы ему...

— Помогите ему, — перебил ее первый секретарь спокойным, но твердым голосом. — Что-то мне помнится, когда летом мы распределяли квартиры, в списке значилась

фамилия этого молодого человека?.. В течение десяти дней найдите этому молодому отцу жилище и доложите мне лично, понятно?..

— Разумеется, Роман Александрович... Доложим, Роман Александрович!..

Куда там десять дней — на завтра же мне зампредседателя горисполкома, на этот раз вежливо улыбаясь, сама вручила ордер на новую и первую мою городскую квартиру. Получив в деревянном доме однокомнатную квартиру, как мы тогда радовались, сустились и бегали, не чувствуя под ногами земли. С тех пор прошло около двадцати лет. Мой старший сын первые шаги сделал в том нашем доме и, можно сказать, вырос там.

Теперь он учится в одном из высших учебных заведений Москвы.

Словно я никогда не был в Москве или он учится не в той Москве, где когда-то учился я сам, каждый раз, придя ко мне, увлеченно рассказывает о какой-то особой, неизвестной мне — о своей Москве. В каком театре какой спектакль посмотрел, какие из последних фильмов талантливые, нравятся ему, на какие можно не ходить — они, мол, бездарные. В разговорах и рассказах сына всегда я слышу имена певцов, актеров, режиссеров, поэтов. Послушав его и невольно придешь к заключению, будто эти известные люди с моим сыном пьют за одним столом чай.

Что поделаешь с ним, я понимаю его. У сына есть своя мечта. Потому-то он интересуется многим, требует, просит. Любопытен ему окружающий мир, знать его хочет.

А в моей голове другие мысли. Кайру-Бажи. Зима. Мороз. Конусообразная юрта наша и возле нее подслеповатая, с единственным окном избушка. Наша опять-таки единственная белая корова. Случай с ее белым теленком... Э-э-х, сынок, откуда тебе знать и испытать все это. Хорошо, что не видел, не знаешь такую жизнь.

Смотрю на сына. Волосы его чуть ли не длиннее волос моего доктора, Ольги Петровны, или доярки Кыйгас, которая работала в Кайру-Бажи с моей матерью, его бабушкой. Длинные его волосы закрыли уши, почти рассыпались по плечам.

— Укротить бы тебе немного волосы, а?

— Нельзя. Мода, — отвечает сын. — Молодые в Москве все так ходят.

В разговоре с сыном я вспомнил одну из деталей былой своей жизни. Когда мы охотились за кротами и сусликами

в нашем летнем стойбище-джайлау, в местечке Актел, то в особенно жаркие солнечные дни ходили, как говорится, в чем мать родила. И это было одним из уроков нашего предводителя Борбок-Кары. Мы снимали свою одежду, бросали ее на муравьиные кучи, и муравьи съедали насекомых с наших штанов и рубашек.

Слушая меня, сын брезгливо качал головой, передергивал плечами, стыдливо морщил покрасневшее лицо.

— И-та-та-й!.. — сказал он. — Не говори об этом, пожалуйста!

— Наша мода была такой, — пошутил я печально.

На сыне брюки из черного бархата. Раньше алтайцы из бархата шили верх шапок, им же окаймляли свои шубы из бараньих шкур. А нынешняя молодежь шьет себе из него брюки, юбки, костюмы...

Глядя на сына, я опять улыбнулся. Вдруг подумалось: если бы перед дедом Папаем, когда он крутил уши нашему другу и вождю, вдруг бы я перед ним возник вот в таких бархатных брюках, с длинными волосами, со сверкающими на руке электронными часами, — как бы он на меня посмотрел?.. Видимо, от удивления не сказал бы ни слова.

Как бежит время! Мне кажется, что оно через каждые пять или десять лет меняет свой цвет и характер. Изменяется дух времени, меняются и характеры людей, живущих в нем, особенно меняется молодежь. А может быть, и наоборот — дух и ход времени зависят от потребностей и характеров людей?

И мои сыновья, и сам я — люди одного века. Но все же между нами течет, разделяя нас, большая река — река времени. И на себя и на жизнь вокруг мы смотрим разными глазами. Мои сыновья — другие люди, хотя течет в их жилах кровь моя и моих предков. Они дети другого времени.

Мой второй сын родился в очень счастливый для меня год. Я тогда учился на последнем курсе Литинститута. И вот здесь, в Москве, впервые на русском языке, вышел мой сборник стихов. С чем можно сравнить счастье молодого стихотворца, когда в его жизни случается такое событие? И еще — второй сын! Счастье мое было беспрельдно.

А не великим ли событием в моей жизни был прием в члены Союза писателей... Ведь я сын еловы, простой колхозной доярки...

С рождением детей, конечно, множатся заботы. Но дети и как-то меняют наши взгляды на жизнь, и поднимают нас на новую ступень.

— Отец, — говорит мне старший сын, — в последнее время я никак не могу разобраться, на каком языке думаю. Иногда думаю на русском, иногда — на алтайском. С тобой такое бывает? Ты замечал, на каком языке думаешь?

— На алтайском. И сны вижу на родном языке... Я не раз просыпался, крича по-алтайски: «Э-не-е-ма-ма-а!..» Во сне я часто оказываюсь в наших стойбищах — Кайру-Бажии или Актеле — и вижу друзей детства: Борбок-Кару, Пашу, Метирея, Малайга, Аткара. Ведь мы тогда не знали ни одного русского слова, разговаривали только по-алтайски.

— А я ведь с рождения учил и русский и алтайский... Сейчас все перемешалось: я даже сны на русском языке вижу. Во-о как!

Заметив, что я разволновался, сын переменял тему:

— Пап, тебе нравится моя рубашка?

Я улыбнулся:

— Как девичья кофта. Если бы я пришел в школу в такой пестрой рубашке, меня бы ровесники засмеяли. Мы считали себя мужчинами, и матери никогда бы таких рубашек нам не сшили.

— Отстаешь от жизни, отец, — упрекает меня сын. — Это же дефицит! Ты бы себе тоже что-нибудь модное приобрел: дубленку или кожаное пальто... И меня не забудь. Мы ведь люди искусства, не должны отставать.

Вот как!.. Вещи жгучими углями беспокоят воображение сына.

— У тебя как будто есть главная цель, дорогой человек искусства? — спросил я у сына.

— А как же!

— Какая?

— Служить искусству.

— Очень хорошо. Тебе, наверное, кажется, что без тебя искусство не будет двигаться вперед?

Сын почувствовал подвох.

— Кто знает, — засмеялся он. — О мировом искусстве не скажу, но паше, алтайское, без моего участия, может, и пачнет хромать, а? — И неожиданно спросил: — Отец, почему студентов, успевающих в учебе, привыкли считать хорошими людьми? Ведь не всегда это так...

Мы говорили в тот день долго. Сын печалил меня и радовал. У него все впереди. Он в пути. Но за ним, как за молодым саженцем, надо умело ухаживать.

— Ну, отец, я пойду, — поднялся сын. — Мама, наверное, уже беспокоится.

— Да, да, иди. Ты маму сейчас особенно береги, помогай ей, сынок, — прошу я.

— Отец, — сын посмотрел на меня, чуть смущаясь. — Ты ждешь дочку, да?

Я улыбнулся.

— А если опять сын родится?

— Ну что ж! Будет у меня три сына, три богатыря. А тебе тоже сестренку хочется?

— Ну, пока, — заторопился сын. — Поправляйся...

Пока, мой сын, «человек искусства»! Вот тебе мое напутствие: балам, ребенок мой, будь Человеком!

## ГЛАВА ПЯТАЯ — воспоминание о белом бычке нашей белой коровы и о матери Борбок-Кары

Однажды зимой был очень нехороший случай. О великий кудай-бог, хотя с тех пор прошло много лет, но как мне об этом умолчать? Правда — она всегда остается правдой.

В те годы каждый колхозник обязан был сдавать государству определенное количество мяса, молока, яиц и другие налоги. Случалось, неплативших судили. Но все же чаще, как бы ни жили бедно, как бы ни было трудно, выручал колхоз, родные люди, сельчане.

Мать с государством расплачивалась нашим единственным белым теленком. У нас была очень хорошая корова: она давала до пятнадцати литров молока в день и молоко у нее было жирным. К тому же белянка была хитрой: всегда умудрялась оставить молоко и для своего теленка. Поэтому к осени, когда подходил срок сдавать налоги, он был большим и жирным.

Однажды на зимней стоянке во время страшных морозов случилось такое, о чем мы, как говорится, и в трех снах не думали не гадали.

Мы, дети, как-то заметили, что наши матери несколько дней тайно шепчутся, спорят, решая какую-то трудную задачу. Шушукались они в юрте, а нас прогоняли в избушку.

Суть этой тайны, их многодневного собрания мы узнали много позже.

— Твой белый бычок, что ты сдала колхозу, потянет все восемьдесят килограмм, — первой начала разговор с моей матерью тетушка Кажакдай.

— Не меньше, — поддержала ее черноволосая Кыйгас. — И каждый год сдаешь так. А ведь положено шестьдесят... — Молодая женщина испытующе посмотрела на мою маму большими черными глазами, полными печали.

— Чего вы от меня хотите? — заволновалась мать.

— Посмотри на детей, — подала голос не очень-то разговорчивая тетушка Кару. — Скоро с голоду умрут. Ты ведь старшая доярка, пожалей ребят...

— О чем вы? — не понимала подруга мама.

— Твои дети ведь тоже голодают, подумай, — уговаривала Кыйгас.

— На что вы меня толкаете?!

— Одного-то бычка можно списать. Сколько коров падет весной! — наконец решительно сказала тетушка Кару.

Во время войны и в трудные послевоенные годы трудились в колхозе в основном женщины да малые дети. Сил и рук не хватало, чтобы до лета заготовить корм скоту. Весной от недоедания и болезней гибло немало колхозных коров. С них нельзя было спускать глаз. Ляжет какая-нибудь корова в ямистое место, а подняться сама, худая, голодная, не может. Если не заметишь да не поможешь — там и умрет. Бывало, споткнется корова о какую-нибудь кочку или оступится — и тоже упадет. И не поднимется без пастуха. А вороны того и ждут: тут же прилетят, сядут на спину, начнут проклевывать шкуру животного. Случалась и такая беда: проглядит пастух — вороны выключают глаза у живой коровы. А как быть со слепой коровой? И что сказать, как оправдаться?..

— На что вы меня толкаете?! — уже шепотом, с ужасом переспросила мама. — Лучше мне не слушать вас, — она зажала уши, — молчите, милые, — поочередно посмотрела на сидящих вокруг очага подруг. — Молчите, иначе я завтра же поеду в контору и...

— А-а, — закричали дружно доярки, — ты нас опозорить, продать хочешь. Ты и детей наших и нас погубишь...

— Нет, — опомнилась мама, — наоборот, это вы толкаете меня на преступление.

Тут кто-то, видимо испугавшись или одумавшись, сказал торопливо:

— Да что ты, успокойся. Мы пошутили, испытать тебя хотели...

Даже лето для наших матерей, как понимаю сейчас, легким не было. Оно только нам, детям, казалось щедрым и вольным. Лето для нас было богатым и сытым: радовало молоком, сметаной, сладкими кореньями. А матери наши летом по три раза доили коров поочередно возили молоко на завод, который находился тут же, в тайге, между двух молочных ферм. Обучали быков и на них возили. Конни, как и мужчины, находились на фронте. Мы, мальчишки, были уверены, что они тоже сражались, — яростно нападали на врагов, топтали, кусали их, — наши кони из далекого Кайру.

Живуч человек! Иногда сама всемогущая смерть боится его и отступает. Однажды тетушка Кару везла молоко на завод. День был жарким. В такие дни особенно злобствуют оводы и мухи. И вот когда Кару ехала, какой-то овод ужалил быка, и тот помчался куда глаза глядят. Остановить его было невозможно. Фляги с брички попадали, и все молоко поглотила черная земля. Кару тоже упала, сильно ушиблась и долго ходила на костылях. Сейчас бы мы сказали, бог с ним, с молоком, даже если его и несколько сот литров, главное — человек живым остался. А тогда!.. Сколько из-за молока было шума, ругани. Говорили, что это вредительство... — Всякому рот не заткнешь.

В те дни, когда Кару кое-как передвигалась при помощи костылей, к нам на летнюю стоянку заехал дед Ярын, который всегда охотился с дедом Папаем. Он пил чай, наблюдал за Кару и наконец сказал:

— Я принесу тебе, Кару, целебную воду. — Где старик нашел «живую воду», я до сих пор не знаю, он это тщательно скрывал. Тогда же о своей тайной воде он поведал нам историю, подобную волшебной сказке. — Вода эта из горячего источника. Она вечно бурлит и кипит, дышит теплым и густым туманом. И земля вокруг источника не замерзает. Даже белой зимой, вы только подумайте, растут на ней голубые цветы. — Дед Ярын, уронив на грудь лысую голову, долго молчал, потом продолжил: — Наш Алтай — земля священная. Она много хранит в себе тайн и богатств. А особые ее богатства — серебро и медь. Они настоящие волшебники, поверьте. Так залечивают переломы костей и трещины, что диву даешься!

— Откуда вам это известно? — поинтересовался Борбок-Кара.

— Ведь я не ты, Борбок-Кара, зря не буду болтать, если чего сам не знаю. — Дед Ярын потухшими глазами уста-

вился на нашего друга. — Был такой случай: поранил я как-то марала. Ушел зверь. Прошло года два или три. Однажды решил я заехать к своей воде. Вечерело. Подъезжаю, и вот тебе на — неожиданно из воды выскочил и не успел далеко удрать огромный марал: пристрелил я его. Снял шкуру и в кости на правой ноге нашел пулю. А пулю своего ружья хороший охотник узнает! Спроси охотников, они это подтвердят. Папая спроси и других, коль не веришь... Тот самый, мною раненный марал опять попал под мою пулю. Да, бывают такие случаи. Но чудо не в этом. Раненый марал не зря приходил и пил живую воду, лежал в ней. Вода его лечила: моя давняя пуля была замурована в кости красноватой медью и серебром. Опять повторяю, не простая это вода. Благословленная самой природой вода. В ней, кроме меди, упавшей с луны, есть и серебро. Жди меня, Кару, я принесу тебе живую воду.

Вскоре дед Ярын выполнил свое обещание. Тетушка Кару утром, в обед и вечером понемногу наливала в деревянную чашку живую воду и пила. Это я видел не раз...

...Через несколько дней разговор о белом бычке опять ожил. Он должен был возникнуть. Ибо все оказались на грани голодной смерти. В колхозном амбаре даже запаха хлебного зерна не осталось. Последний раз колхозницы поделили меж детьми предназначенный коровам жмых. Он был твердым и зеленым. Мы подогревали его у костра и, как мыши, грызли. Теперь и его не стало. Чай — не чай, а пустой кипяток. Что делать, как выжить?.. Не дети только, но и старшие стали опухать — лица у всех бледные, глаза острые, ждущие и ищущие. Кажется, дунешь на маленького Малайта — он упадет. Тогда говорили: «От голода человек последний раз жиреет, а потом приходит смерть и забирает его».

— Разве ты не видишь, вот-вот умрут дети! — упрекали мою мать женщины Кайру-Бажи. — Ты не мать, а подземный злой дух Эрлик!

— Говорите как угодно, но дать согласия не могу. Милые, не могу я пойти на такой шаг! — плакала мама.

— Учти, говорим последний раз, упрашивать тебя больше не будем!

Когда вспоминаю морозы тех лет, содрогаюсь и сейчас. Зубы о зубы стучат. Кажется, навеки в моем теле осталась далекая та зима.

В любой мороз наши матери ездили за сеном. Если плохо вершили летом стог или сено было сыроватым, то стожок замерзал до основания. И такими зимой оказывались почти все стога. Целыми днями стучали топорами женщины, разрубая смерзшееся сено, и только под вечер, смертельно уставшие и голодные, возвращались домой. А в их саних оказывались лишь небольшие квадратики черного мерзлого сена, и дома их не ждали ни кусок хлеба, ни теплая мягкая постель... Откуда они брали силы?

Женщины, которые оставались на стоянке, чистили хлев, ухаживали за коровами. Чистить было очень трудно — всюду в эти морозные дни в хлеву лед от мочи животных. Коровы худели, простуживались и болели. Чтобы их спасти, наши матери запрягали быков и опять отправлялись в лесную чащу. Там они искали под снегами сухие муравьиные кучи, чтобы прикрыть ими ледяные лежанки коров. На них животным было мягко и тепло. Но только через несколько дней опять все замерзло...

Мы в то время думали, что жизнь должна быть всегда такой — мало смеха, радостей и счастья. Чтобы не умереть, чтобы выжить, мы крепко держались за подолы своих голодных и злых от горя матерей. Мы привыкли, что жизнь сурова и черна, и потому не проклинали ее.

Нашему Борбок-Каре тогда было примерно пятнадцать — шестнадцать лет. Он уже пас колхозных коров. Самостоятельный человек, пастух. Считался взрослым мужчиной. За все отвечал, как остальные колхозники.

Много воды утекло с тех пор, но не могу я забыть историю с нашим белым бычком.

Навсегда запомните, люди, ничто не заслонит правду! Правда всегда останется правдой. Когда на душе тяжело, как не освободиться от тяжести, которая угнетает, мучит?.. Сам от себя никогда и никуда не спрячешься. И если выскажешь эту тяжелую правду — светом озарится твое лицо, облегчится сердце твое...

Ночь.

Нас, более пятнадцати мальчиков и девочек, матери наши разбудили и привели из избушки в юрту, посреди которой чернел над костром очага большой котел-казан. Густой дым и пар заполнили юрту. Щекочет нутро вкусный, душистый мясной запах. Все сели вокруг очага. Лица голодных людей насторожены. Вот кто-то помешал в казане черпаком, вытащил первые большие куски мяса...

В моем желудке будто сидел кто-то. Почувяв запах ва-

ренного мяса, он шевельнулся всем своим существом и даже словно крикнул громко. Я едва в обморок не упал. Какой запах, как вкусно!..

Как ел мясо, плохо теперь помнится. Но поступок нашего Борбок-Кары в эту ночь мне никогда не забыть.

Когда перед ним поставили чашку с мясом, Борбок-Кара взглянул и вдруг тыльной стороной руки отодвинул ее от себя и заявил:

— Не буду есть!

Все замерли, испугались. Некоторое время в юрте стояла мертвая тишина.

— Мало мне дали! — громко и угрожающе сказал он и отодвинулся от очага в темноту. — Я пастух. Выдам вас всех!

— Борбок-Кара, Борбок-Кара, мой балам, — раньше и проворнее всех к нему приползла мать его, тетушка Кажай. — Пододвинься, сынок, Борбок-Кара мой, нежный, ласковый мой ребеночек! Кушай мясо.

— Милый Борбок-Кара, — тут же вслед за его матерью к нему подошла Кыйгас. Ее длинные черные волосы струились по старой, изношенной шубе с множеством заплат. — Хороший мой, — шептала она. — Борбок-Кара работающий парень... Не знает ни лени, ни страха. Хороший, красивый он!.. Эй, люди, побольше кладите мяса Борбок-Каре! — Кыйгас оглядывалась назад, к дояркам, что-то молча показывала им рукой, подмигивала испуганными глазами. — Наш Борбок-Кара — единственный мужчина! Он давно хочет, я догадываюсь, погладить мою голову и волосы. Хочешь, погладь сейчас, при всех погладь мои черные волосы, Борбок-Кара...

— Наш Борбок-Кара, дорогой Борбок-Кара, — снова раздался умоляющий голос матери его.

Тут запричитала мать Паши, тетушка Тообос, и молчаливая тетушка Кару.

— Говорила ведь я вам! — громче всех закричала вдруг моя мама. — Говорила, говорила я вам всем! — Неожиданно мать отобрала у меня чашку с мясом и, расплескивая бульон, почти бросив, а не поставив чашку к очагу, брезгливо приказала мне: — Не ешь! И ты тоже! — повернулась она к моей маленькой сестренке. — Идите немедленно спать!

Мама стала выгонять нас из юрты, но тут неожиданно

Борбок-Кара придвинулся к очагу, и мать забыла о нас. Все занялись теперь Борбок-Карой.

Перед ним теперь стояло полное корыто вареного мяса. Его холодные глаза сверкали. Он, вытащив из ножен острый нож, умело и тонко отрезал мясо, отправлял кусок за куском в рот, зачерпывал ложкой наваристый бульон, противно чмокал толстыми губами.

— Борбок-Кара, подлить тебе еще? Кладите Борбок-Каре еще мяса, добавьте горячего и жирного бульона. Он у нас молодец! Наравне со взрослыми, может быть, даже лучше работает!.. — заискивали наши матери.

Толстыми короткими пальцами Борбок-Кара снова и снова брал куски. Вот он заметно потеплевшими глазами поглядел на следящих за ним людей...

Зазвякали чашки и ложки. В юрте постепенно оживлялось. Мама добавила в мою чашку бульона. Стали тихо разговаривать. А Борбок-Кара по-прежнему молчал, но всем было хорошо от того, что он ест мясо белого бычка.

...Кончилась кровавая война. Прошло несколько трудных лет. К этому времени я оставил наши летнюю и зимнюю стоянки в урочищах Кайру-Бажи и Актеле. Теперь я учился в школе в областном центре и жил в интернате.

Однажды, во время весенних каникул, когда гостил дома, поехал я с матерью Борбок-Кары, тетушкой Кажакай, за хворостом в лес.

Поскольку давным-давно не было нашей рыжухи, мы запрягли в таратайку серка, очень уставшего и постаревшего за последние годы. Он, лениво махая хвостом, трусцой бежал по лесной тропинке. Весна была в разгаре. День теплый и погожий. Где-то куковала кукушка.

Мать Борбок-Кары любила петь. Особенно, казалось, ее вдохновляли тишина и красота гор — она начинала петь сперва тихим голосом, как бы пробуя себя, потом чуть громче, протяжнее и тоскливее. Словно соперничая с кукушкой, оглашавшей просторы неба и лесную чащу, пела она задумчиво и вдохновенно:

Когда жеребенок аргамак был маленьким,  
Большая и глубокая река была ему преградой.  
Когда сын отца был еще в колыбели,  
Война кровавая и горестная мешала ему расти.

Болью в сердце отозвалась эта песня о трудной судьбе моего поколения, наших матерей. О горькой своей доле

пела Кажакдай. А кукушка, будто жалея вдову, вторила ей.

Над лесами и горами в тот день небо было голубое и высокое. Зелень новой весны на глазах сгущалась, поднимаясь над прошлогодними бесцветными травами.

Кажакдай вдруг перестала петь и посмотрела на меня.

— Как хорошо и как вольно! — словно выдохнула она какую-то тяжесть из груди. — Войне бы черной больше не быть на земле, да смотрели бы так же чисто и тихо глаза неба на нас. — Задумалась на какой-то миг и начала негромко выводить новую мелодию, но вдруг снова обратилась ко мне: — Теперь ты учишься далеко, в большом городе. А мои сыновья продолжить учебу не смогли. Борбок-Кара стал переростком, а Аткиру, знаешь сам, болезнь помешала. Да черт с ней, с учебой. Мне бы их поженить, посмотреть на их свадьбы, поддержать на коленях внуков, погладить их по спинкам, помянуть — и больше ничего не надо, можно спокойно умирать...

Каким я был еще мальчишкой и дурачком! Горько мне и стыдно сейчас за то, что совсем не к месту вспомнил я тогда ту далекую и забытую зиму, белого бычка нашей коровы и неожиданно для себя мстительно спросил:

— Тетушка Кажакдай, вы помните, как мы однажды ночью ели мясо?

Кажакдай вздрогнула, посмотрела испуганно. А я, увидев, что напугал ее, рассмеялся и продолжал:

— Борбок-Кара тогда всех вас взял в тиски. Как вы перед ним трепетали и унижались. О-о, мясо белого бычка было очень вкусным!

Мать Борбок-Кары, словно ее подкосили, как траву, неожиданно упала ничком на землю. Не поднимая головы, закрыв ладонями уши, она еле слышно прошептала:

— Ради бога, балам, Барыс мой, перестань, перестань, умоляю, не говори об этом. — Казалось, будь это возможно, тетушка Кажакдай, пробив толщу земную, ушла бы туда, только бы меня не слышать. — Не говори, Барыс, молчи, не говори! Эхо человеческого голоса летает по вершинам деревьев и доходит до чужих ушей. Бог ты мой, молчи, молчи, перестань, пожалуйста!..

Она затихла. Через какое-то время стала подниматься, тяжело опираясь руками о землю. Я молча смотрел в ее посеревшее, как зола, лицо, а когда она встала, — тьфу на меня! — опять напугал ее:

— Эхо ведь не птица, как оно может летать по вершинам деревьев? — Я опять не мог остановиться. — Оказыва-

ется, вы очень трусливы, до сих пор дрожите! — злорадствовал я. — Откуда же тогда взялась смелость зарезать нашего белого бычка?

Кажакай снова зажала ладонями уши.

— Ради кудая, мой Барыс, — почти молилась она, — молчи, молчи. И эти деревья, и солнце имеют уши, балам. Все они понимают и слышат твой голос. У них у всех есть глаза, уши, даже язык. Перестань, балам, замолчи, сынок...

После этого Кажакай не промолвила ни слова. И больше уже не пела.

Замолчал и я. Внезапно высказав затаенную с детства обиду, о которой, казалось, и сам не подозревал, обидев несчастную мать, я вдруг почувствовал себя опустошенным. Каким жестоким может быть человек!..

Мы молча нагрузили таратайку сухим хворостом, надежно привязав его к ней длинным арканом, чтоб не свалился, и молча вернулись домой. А весна цвела, зеленела кругом. Слава красоте земли и предстоящие человеку радости, по-прежнему оглашала просторы кукушка.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ —

о том, как я впервые ходил на охоту

Уж который раз на склоны крутоверхих гор и на просторные поляны Кайру-Бажи выпадал первый снег, предвестник большой и долгой зимы. Утром на холодном и ясном небе медленно поднималось огромное солнце. Оно удивленно сверкало, словно впервые видело белые молчаливые долины. По их белизне бежали, отражаясь множеством звезд, лучи солнца.

С нынешней зимы мать разрешила мне пользоваться старым ружьем отца и самостоятельно ходить на охоту. Потому, увидев первый снег, обрадовался я, учащенно забило сердце, торопя и беспокоя меня. Но откуда мог я знать, что первая охота принесет мне печаль и большую тревогу. Что поделаешь, говорят, беда всегда прячется под рукавом.

В те годы любой имел право носить ружье и пользоваться им. Запрета, как теперь, не было. В горах каждый имел собственное ружье. Но тем не менее в наших местах никто никогда не слыхивал, чтобы человек ружьем угрожал и даже убивал человека.

Снял я старое кырлу-ружье отца и выбежал из юрты со своим ровесником Пашей. А в это время никого из взрослых не было в юрте. Правда, в избушке сидела тегушка Тудар. Остальные еще ранним утром ушли и уехали по разным делам. Кто-то из оставшихся чистил коровий хлеб, кто-то раздавал телятам сено. Борбок-Кара тоже был на своем участке — пас коров. Присматривая за животными, он успевал и поохотиться, и расставить ловушки на звериных тропах. Бывало, иногда приносил он белку или зайца.

Мы с Пашей ушли недалеко в лес. Там с радостью заметили, что по первому чистому снегу зимы пробежали сотни лап. Кайру-Бажи тогда был не таким, как в нынешние годы. Полно было и белок, и лисиц, и быстроногих зайцев. Косули и кабарги тоже бродили по горам и лесам. А сегодня пойдешь в те же горы и леса, не найдешь ни одного следа — лишь нетронутый чистый снег встретит тебя. Зря говорю я «лес», «леса»... В Кайру-Бажи сейчас нет лесов, кругом голо и неузнаваемо тоскливо.

Воспоминания о прошлых годах обостряют проблемы нынешних дней. Потом опять уводят к далеким временам детства.

— Поезжай сегодня в Кайру-Бажи, ты и не узнаешь его, — не раз, приходя в палату, говорил мне Борбок-Кара. — Даже я, работая всю жизнь там, иногда не узнаю родных мест, Барыс. Чем писать какие-то стишки, лучше написал бы об этом. Ведь это серьезно... Кому нужны твои стишки, кто их будет читать? Например, я — не то что стихов каких-то, даже толстых книг не открываю.

— О чем ты просишь писать, Борбок-Кара? — понимая его, я спросил нарочно.

— Как о чем?! — Борбок-Кара удивленно раскрыл свои холодные глаза. — Ведь ты только что говорил о лесах Кайру-Бажи. Сейчас нет там лесов, говорю. Тех мощных и толстых лиственниц, кедров и елей. Их давно уничтожили электропилами. Иди, иди теперь в Кайру-Бажи... Попробуй найди там, как было раньше, белок и других зверей с богатыми мехами. Не на кого направить ружье. Вот что встретится тебе! — Он показал кукиш.

«Пиши...» Откуда знать Борбок-Каре, когда он не читает, что я уже немало написал и о богатстве природы и об охране ее.

Как тут не вспомнить о Леониде Леонове? Сколько сказано им горячих и правдивых слов о родном лесе и природе?

Мой Борбок-Кара, видимо, даже не знает, что живет в одно время с такой большой личностью. А он, Леонов, обвиняя, например, Министерство просвещения, без всяких, как говорится, оговорок, открыто сказал: «Думаете, хоть разок отозвалось оно на многократные мои призывы и попреки? Нет, это люди занятые, чиповные! А ведь прямое дело школы — постепенно готовя из детей будущих агрономов, инженеров, развивать ребячий интеллект, воспитывать характеры под углом именно практической, с малых лет, преданности родной земле».

— Земля не резина, ее не растянешь пошире, парень, — сидит и почему-то весело смеется мой друг Борбок-Кара. — Как когда-то богом сотворено Кайру-Бажи — никому никогда его не сделать больше и шире, чем есть! Раскромсали наш Кайру-Бажи. А сколько валяется там бревен, валежника, повсюду торчат пни. Испоганили мы свою землю: нет мест для заготовки кормов, негде пасти коров. Ты — писатель, пиши обо всем этом. Кайрунцы тебе объявят благодарность, подарят по барану. Пора ведь спохватиться...

Смотрю я на Борбок-Кара, а в голове опять звучат слова того же Леонида Леонова:

«Я не лесовод, не облечен никакими специальными полномочиями по охране леса, я только один из обожателей живой природы, хотя и с пером в руке, а ведомство писательское, при всем нашем желании, несмотря на его мнимую значительность, далеко не всесильно... И впрямь, много ли наделаешь пером против стальной армады быстродействующих пил? Куда там, неравный бой!..»

— Знай и пойми, друг, земля — не резина, — Борбок-Кара повторил еще раз, встал и ушел в свою палату.

...Мы шли по белому снегу среди бесчисленных следов зверей. Вдруг Паша закричал:

— Смотри, белка... белка!

На небольшой круглой поляне стояли всего лишь три деревца и там с сучка на сучок проворно, словно пушистый мяч, прыгала белочка. Услышав наши голоса, она замерла, лишь смотрела на нас черными и хитрыми глазами, ожидая, когда мы удалимся.

Стрелять с руки, поднимать отцовское ружье было тяжело для меня. Поэтому я предложил Паше:

— Иди сюда и встань передо мной, а я ружье положу на твое плечо и буду целиться.

А что Паше — он послушался и смиренно встал. Я положил на его плечо длинное ружье и стал целиться в белку. Волнуясь и тороплюсь. До первого грома моего кырлу прошел, кажется, целый год. И вдруг возле самых ушей Паши грянул выстрел. От испуга он так присел, что я уронил ружье. Не обращая внимания на Пашу и ружье, я смотрел на белку. Она, ударяясь и цепляясь за сучки, падала вниз. И вдруг перед самой землей ловко зацепилась за нижний сук и тяжело, ползком ушла вверх.

О кудай-бог, не знаю, что тут со мной случилось — сердце сильно забилося от волнения! Я даже не подумал, что ранил белку. Мне почудилось, что она, как крылатая птица, сейчас же улетит куда-то. Я торопливо поднял ружье, лихорадочно стал его заряжать.

А ружье заряжалось пулей, не дробью. Кроме того, у него не было затвора. Пулю надо было толкать прямо в ствол. Но прежде в ствол насыпался порох, потом вставлялась пуля, ставился капсюль, и только тогда можно было стрелять.

Пашу я снова поставил перед собой, положил на его плечо ружье, прицелился и нажал курок. Но, к удивлению, выстрела не было. Лишь разбился от удара бойка капсюль и раздался негромкий звук. Но белка и его испугалась, поднялась еще выше.

Я совсем расстроился. Что случилось?

— А-а! — невольно закричал я, вспомнив и догадавшись, в чем причина. — Я забыл насыпать порох в ствол. Затолкал только пулю. Что теперь делать, как быть?

Думали, думали и наконец решили: потихонечку насыпать в отверстие от капсюля порох, после поставить капсюль и выстрелить. Так и сделали. Я опять поставил Пашу перед собой, прицелился, нажал на спусковой крючок. Раздался звук чуть сильнее прежнего, но пуля осталась в стволе. А белка поднялась на самую макушку лиственницы.

Но мы почему-то решили, что пуля вылетела, просто мы промазали. Хорошо хоть в стволе нет теперь пули. Теперь не надо торопиться. Сперва насыпать в ствол порох, потом вставить пулю. Нет, никак нельзя торопиться и забывать: вот смотри, Паша, сыплю в ствол порох. Насыпал, да?.. Видел, Паша, что я насыпал порох? А сейчас, вслед за порохом, смотри, толкаю пулю. Вот, затолкал. Ничего на этот раз мы не забыли. Сделали все правильно, как настоящие охотники. Теперь только хорошенько прицелиться и попасть в белку. Нельзя оставлять в лесу такое добро. Подумать только — она стоит три рубля шестьдесят копеек! Нельзя бросать на ветер столько денег, друг! Как мы их здесь оставим, с какой совестью вернемся домой? Ведь три рубля шестьдесят копеек!..

Вдруг Паша сказал:

— Давай теперь ты встань, а я буду стрелять.

Хотя ружье мое, я не мог отказать ему. Может, Паша точнее целится? Кто знает. Встал я на место Паши. Пока он не выстрелил, я обернулся к нему:

— Паша, если ты попадешь в белку...

— Значит, скажем, что белку убил я, — гордо сказал он. — Придем домой, так и объявим. А деньги за шкурку разделим пополам...

— Идет, — согласился я и подставил плечо.

Насторожился, дышать перестал, жду, когда долгое эхо выстрела раскатится по горам. Всем существом ощущаю, что Паша сильно волнуется. Наконец он нажал на спусковой крючок, и так же, как и давеча, раздался слабый звук одного лишь капсюля.

Бог ты мой! Что, что такое?.. Может быть, силой какого-то колдовства с нашим ружьем случилась беда? Вдруг в его стволе сидит сам черный - алтайский черт?..

Судили-рядили, судили-рядили и выяснили: сперва, забыв, что надо вперед насыпать порох, я в ствол поместил пулю, потом порох, а затем опять пулю. Таким образом, между двумя пулями образовалась прослойка пороха. Сунули шомпол в ствол ружья — он на два пальца не дошел до положенной черты. Теперь ничего не сделаешь. Об этом надо украдкой сообщить только Борбок-Каре. Пусть он нам поможет выбить из ствола пули и порох. Он хитер, придумает что-нибудь...

Словно ничего не было, я принес ружье, повесил на прежнее место. Два дня молчал, поджидая удобный мо-

мент. Но сердце не давало покоя. Оно, будто запертый щенок, выло и царапало меня изнутри.

Мать уехала за сеном. Другие доярки тоже ушли по делам. Борбок-Кара сегодня дома, у него день отдыха. Их двое, пастухов, работают поочередно. В свои выходные дни Борбок-Кара обычно или охотится, или спит в избушке весь день, завернув пеструю от лишая голову старой шубой. Сегодня он остался спать.

— Борбок-Кара, — шепчем мы с Пашей, — ты сможешь нам помочь? В стволе нашего ружья застряла пуля.

Борбок-Кара встрепнулся, посмотрел на нас и горделиво ответил:

— Есть ли то, что я не мог бы сделать, а?! Как же я буду считать себя вашим командиром, если не сумею выбить пульку из ствола? Где ружье?

— В юрте.

— Пошли.

Посмотреть, как Борбок-Кара будет выбивать из ствола ружья пулю, с нами увязалась и моя сестренка Клара, она была в избушке и слышала наш разговор с Борбок-Карой.

В юрте Борбок-Кара взял в руки кырлу, повертел в своих крепких толстых пальцах, изучающим взглядом осмотрел его и начал развязывать веревки, чтобы отделить ствол от ложа. Потом легкими и ловкими движениями пальцев с конца ствола отвинтил шуруп, на который ставится капсюль. Теперь в его руках остался голый ствол. Туда он засунул длинный шомпол и сильно стал толкать его двумя руками. Аж лицо покраснело! Но из этой затеи ничего не получилось.

— А ну-ка, молоток! — наконец приказал он. — Сейчас посмотрите, как вылетят эти проклятые пульки.

Борбок-Кара стал бить молотком по шомполу. Опять никаких результатов. Когда я вспоминаю об этом, и теперь страшно. Сердце чуть не подпрыгивает до горла. Может быть, человек на самом деле живет под богом? Подумайте сами, когда Борбок-Кара молотком бил по шомполу, ведь мог бы разогреться порох, находящийся между пулями, и тогда... На этом белом свете давным-давно не жил бы Борбок-Кара. Нет, лучше об этом не думать.

Наш командир, не выбив из ствола пули, рассердился.

— Ы! — огрызнулся он. — Ы!.. В таком случае найдем другой выход. Я ведь самый близкий друг великого охотника Папая! Разве я не Борбок-Кара?! Не может быть

никакой преграды перед Борбок-Карой, понятно вам?! — сердился и хвастался он. — Скажите, кто из вас хитрее, кто догадается первым, как я достану пули?..

Моя сестренка сидела возле самого очага, грелась и смотрела молча, как мы стараемся освободить ствол. А Паша и я вертелись около Борбок-Кары. Откуда нам было знать, что вот-вот грянет беда!

Значит, в юрте Борбок-Кара, Паша, я и моя любопытная сестренка. Нет, я ошибся. Живых существ нас, оказывается, не четверо в юрте. В углу лежит больной теленок, укутанный старой овчиной. У нас всегда так: даже корова заболит — ее держат рядом с людьми. Ухаживают за ней, лечат ее и лелеют, кормят — лучше нас, детей.

Стало быть, в юрте нас пятеро — Борбок-Кара, Паша, я, маленькая моя сестренка и красной масти теленок. Но опять я считаю неправильно. Кроме нас, пятерых, в юрте находится еще одно живое существо. Это — огонь, горящий посреди юрты. Наш народ считает огонь живым существом. Садятся есть — прежде всего задабривают огонь. Он старше всех. Хоть и бедную, плохую еду, все равно он варит и жарит, сам угощается ею. Огонь — наше божество и хозяин наш.

Вдруг глаза Борбок-Кары стали хитрыми от осенившей его мысли. Он взял конец ствола, где грозно и тихо лежали пули и порох, сунул его в красные угольки, а другой конец прислонил к таганку.

— Ну, сейчас свинец расплавится на жару и вытечет! — радостно и гордо объявил он.

Не прошло и минуты, как раздался страшный взрыв, полетели головешки, красные угли и зола.

Очнувшись, я прежде всего заметил, что возле очага, закрыв ладошками лицо, навзничь лежит моя сестренка. Что тут случилось со мною! Я кинулся к ней, ничего не видя и не слыша вокруг. Рядом кричали Борбок-Кара и Паша, что-то делали, но я не мог прийти в себя. Поднял сестренку — живая!

В следующий миг смотрю — в юрте полно народу. Первой заметил перепуганную до смерти тетушку Тудар. Возле нее стоят Метирей, Малайт. Оказывается, прибежал даже больной Аткир. Глаза у всех — как у коров и коней, на которых напала стая волков: испуганные, сверкающие — глаза беды.

Вдруг тетушка Тудар рванулась с места и кинулась ко мне. Она что-то кричала, ругала меня наверное — я не

слышал. Лишь видел: шевелятся ее синеватые, искривленные губы.

Сколько времени прошло после выстрела — не знаю. Тетушка Тудар склонилась над моей сестренкой, а та вдруг схватила ее за шею и громко заплакала. Этот плач вывел меня из оцепенения. Тетушка Тудар крепко прижала девочку к своей груди, молча гладила и гладила ее черной и грубой ладонью по голове. Потом, как собака, обнюхала ее голову, щеки, тонкие ручонки и начала приговаривать:

— Ничего, ничего, балам, успокойся. Вот придет твоя мама, мы покажем им, как баловаться ружьем...

Через некоторое время, опомнившись и успокоившись, мы начали собирать и складывать на место разбросанные головешки и угольки и лишь теперь заметили, что красный наш теленок, вытаращив глаза, лежит растянувшись на земле, а из-под него ручейком течет кровь.

Слава богу живой осталась сестренка. Моя самая нежная и маленькая сестричка, которая до сих пор уважительно обращается ко мне: «Акам — старший мой брат».

Э-гей, моя сестренка, помнишь, как ты в тот день, когда мама вечером пришла с работы, жаловалась и плакала? Тогда, помнится мне, ты не произносила буквы «р» и «л», вместо них говорила «й». На алтайском языке рука — «кол», а овечка — «кой». И если ты хотела сказать, что вымоешь руки, то выходило — вымою овечек своих. В общем, сестренка, ты в детстве говорила очень забавно...

— Мама! — крикнула ты, как только мать перешагнула порог избышки, и побежала ей навстречу. — Бойбок-Кайа в меня стеййай йужьем! Но не убий меня, а убий кйясного тейенка. Тепей нет у нас тейенка, мама...

Случилось, конечно, вот что. Порох, бывший среди двух пуль, нагрелся и выбил их. Одна из пуль попала в очаг и вошла в землю. А могла бы попасть в кого-то из сидящих возле очага. Другая угодила в теленка. Колхозный этот теленок тяжелым грузом повис на шее и без того бедных наших матерей.

Вот чем кончилась моя первая охота.

Кто тут виноват, скажи, Борбок-Кара, ай, Борбок-Кара...

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ — рассказ о нашем летнем стойбище и о том, как я однажды отомстил Борбок-Каре

Летнее наше стойбище — зеленые горы и буйно цветущие долины местечка Актел.

Пока мы охотимся за сусликами и кротами на зимнем стойбище Кайру-Бажи, приближается весна, тают снега высоких и далеких гор, жарче и жарче становится солнце, высыхает земля. Созревают коренья кандыка — съедобного растения. Каждый год в это время мы перекочевываем охотиться в Актел, где больше кротов и сусликов, поскольку «своих» мы успели переловить. Чтобы добраться туда, необходимо перейти реку Кайру. Стоит время таяния снегов и льдов горных вершин, воды Кайру с каждым днем прибывают, бурля и кипя грозными волнами, высоко заливая крутые берега.

У каждого из нас свой котелок. За спиной еле тащим капканы. Напрасно туда идти, если у тебя их меньше десяти. Больше всех капканов, конечно, у Борбок-Кары. Наверное, не меньше двадцати. Среди его ловушек непременно найдутся и украденные у деда Папая.

В нашем «великом кочевье» река — главная преграда. Нет моста. Кайру мы переходим в местечке Чанак-Кечу, что означает «санный переход». Река там узкая, и кто-то перебросил с берега на берег дерево. Белые и пенистые волны перекатываются через него. Намокшее дерево скользко, опасно. Чтобы пройти по нему, надо быть шустрым и ловким, как белка.

Как нужна была нам помощь, когда переходили реку, но Борбок-Кара, наш предводитель, не вел нас за руку и не переносил нас на своей спине. Нет, такой ласки и добра мы не знали и не ждали от него. Не было нам такого праздника. Его дело — стоять в стороне и наблюдать, как мы, дрожа и замирая, переходим по опасному дереву. Мы были благодарны ему и за то, что хоть следил за нами в эти минуты.

Переходили реку по жребию: наломает Борбок-Кара прутьиков и предложит:

— Давайте, орлы, тяните. Кто вытянет самый длинный — первым пойдет, кто короткий — последним.

Каждый раз мы с замиранием сердца молча смотрели друг на друга: кто же из нас пойдет первым? А Борбок-

Кара, понимая наше состояние, улыбнется хитровато и поторопит:

— Ну, тяните!

Самая длинная палочка каждый раз почему-то доставалась Метирею.

— Такова твоя участь, — скажет Борбок-Кара весело. — Шагай вперед, Метирей! Если ты плохо думаешь обо мне, волны Қайру схватят тебя и унесут. Если чисты и белы твои помыслы, то спокойно перейдешь на ту сторону.

Что оставалось Метирею? Трясаясь, как от холода, первым ступал он на мокрое дерево. Затем шел я, а вслед за мной Паша. Сам Борбок-Кара не торопится. Он всегда последний. Показывая всем свою храбрость, с песней пошагает он по ненадежной переправе. Борбок-Кара сравнивает себя с батыром Шуны из алтайской легенды и потому всегда поет одну и ту же песню:

Батыр Шуны никогда не ударит  
Своего геройского коня.  
Не страшась течения Қатуни и Бии,  
Его верный конь их с легкой пляской перейдет.

Когда рядом с нами такой батыр, как наш Борбок-Кара, скажите, кого и чего нам бояться? Он следит за нами, он поможет, если случится беда.

Перешли. Начинаем охотиться. Но тут поджидает другое мучение. Никто из нас не осмелится обратно переходить реку по дереву. А так хочется домой! Мы тосковали по матерям, оставшимся в Қайру-Бажи, и не могли к ним вернуться — Борбок-Кара ни за что не согласился бы никого из нас сопровождать. Мы нужны были ему тут. Он не хотел здесь оставаться один. А ему хоть бы что — он давно забыл эти лучшие в мире слова: «дом» и «мама». На актелской стороне он мог жить сколько угодно, промысливать сусликов и кротов хоть до старости. Таков его характер. Он не знает боли и тоски.

Поэтому мы ставили капканы и с нетерпением ждали середины месяца кукушки — мая, когда с криком, шумом и песнями, мычанием коров и телят, ржанием коней перекочуют сюда, на летнюю стоянку, наши матери — семеро доярок.

В Актеле земля густо удобрена навозом, поэтому на ней рано цвел кандык и быстро созревали его съедобные сладкие корни, которыми мы питались, считая их одним из лучших даров родной природы. Но о кандыке — потом. Сначала — о нашей охоте на кротов и сусликов.

Стоило нам перебраться по злосчастному дереву на актелскую сторону, Борбок-Кара начинал хвастать:

— Я умею разговаривать даже с самой землей! Скажет так и ложится на землю, прижимая то одно, то другое ухо к ней, прислушиваясь, что-то таинственно шепча. Потом поднимется и скажет: — Теперь мне все ясно. Земля обо всем нашептала мне. Посмотрите во-он на тот солнечный склон горы. Только что земля сказала, что там норка крота. На него не ставьте свои капканы.

Затем он указывал еще и еще места, где «сам будет ставить».

Заранее занятая нашим предводителем земля всегда была близкой к стану или юрте, где мы временно жили. И там действительно всегда оказывались норы кротов и сусликов. Борбок-Кара хорошо знал актелскую землю. Да и зачем ему, предводителю, далеко ходить в поисках зверюшек? Сперва он переловит тех, что поближе. А далеко пусть другие ходят, тратя время и силы. Он — вождь! Эта земля, кроты и суслики — все ему принадлежит!

Но однажды...

Мы, как всегда, внимательно выслушали Борбок-Кару, запомнили, где будет охотиться он, и разошлись ставить свои капканы. А Паша поставил свой капкан на заранее занятое нашим командиром место. И поймал крота.

— Почему ты опередил меня?! — грозно спросил наш предводитель. — Ты убил единственного белого крота, самой землею предназначенного мне!.. Отдай моего священного крота!..

Среди охотников существует поверье: кто убьет редко-го в алтайских горах белого, подобно снегу, зверя или зверька, будет удачливым и счастливым — ему попался священный зверь. Не так просто убить его. Значит, это дар самого всевышнего...

— Отдай сюда моего белого крота! — потребовал Борбок-Кара.

Паша не отдал.

— Кто придет вперед, тот получит огонь, — ответил он. — Так учит пословица. Я, Борбок-Кара, не только белого, даже серого крота тебе не отдам!

После этих слов Борбок-Кара, наверное, вспомнил уроки деда Папая: схватил за уши упрямя Пашу и свалил его на землю. Он был сильнее Паши.

— Э-ке-ке, Паша, с каких пор ты повадился убивать священного белоснежного крота?

Хотя уши нашего друга горели, а худое и бледное лицо его еще сильнее побелело, он крепился, чтобы не заплакать. А наш предводитель продолжал мучить его, приговаривая, как дед Папай:

— Еще будешь убивать, скажи, моих кротов?

Вдруг он вытащил из ножен свой нож. Мы с Метиреем, испугавшись, подбежали к нему и кое-как оттащили его от Паши.

Наш предводитель такого не ожидал. Вскочил на ноги и удивленно и страшно посмотрел на нас, покачал большой головой.

— А-а, вот вы какие стали, а?! — Борбок-Кара пожирал нас своими холодно-злыми глазами. — Держитесь, паршивые псы, каждому из вас я сейчас покажу! Я вас прогоню отсюда и больше не буду брать с собой, щенки!

Мы испугались, отступили на несколько шагов. А он опять ударил Пашу и, свалив, сел на него.

— На тебе, белый крот! — Ручкой ножа он несколько раз ударил по голове упряма. — Хоть один еще раз, пойдешь поперек меня, тут же поплывешь вниз по яростным волнам Кайру. Понятно тебе, дружок?

Паша молчал. Он лишь прикрывал худыми руками голову от ударов, пытался и беспомощно дрыгал ногами. Тогда сидящий на нем Борбок-Кара начал бить его деревянной ручкой ножа по рукам. Тут Паша не выдержал и заплакал.

— А-а, неумеющий плакать, показал слезы! — мстительно обрадовался Борбок-Кара. — Вон на том бугорке есть еще один крот, мною давно замеченный. Если на него осмелишься... знаешь, что я сделаю с тобой?.. Привяжу тебя к дереву арканом и оставлю одного. Тогда поймешь, что это такое!

— А что будет? — неожиданно спросил я.

— Ты видел того синего волка, которого я приволок в Кайру-Бажи? — спросил он меня, затем посмотрел на Пашу. — Все видели? Так вот. Жена того синего волка живет в лесах Актела. Ищет того, кто убил ее мужа, чтобы отомстить. Злая, жадная волчица. Помните, что сделали ее подруги с нашей рыжухой? — Борбок-Кара посмотрел на нас таинственно и со страхом. — Вот когда привяжу Пашу к дереву, ночью придет волчица со своими подругами и они отгрызут ему уши и язык, как нашей рыжухе, понятно теперь?

— Не я же убил мужа волчицы, — вдруг возмущился Паша. — Синего волка убили ты и дед Папай. Если кого-то и ищет волчица, то тебя самого, Борбок-Кара!

Метирей и я были поражены смелостью нашего друга. Помнили мы ясно тот страшный случай с рыжухой. И, не найдя других слов, почти враз спросили у Паши:

— Если волчица съест Борбок-Кару, что мы будем делать без него?

Паша не верил, что волчица, мстящая за мужа, живет теперь в актелских лесах и постоянно крадется за кем-то из нас. На следующий же день он снова показал свое упрямство: поставил капкан на крота, о котором предупреждал Борбок-Кара, и поймал его.

Пытка нашего предводителя на этот раз была изощренней. Вечером Борбок-Кара спокойно, будто ничего особенного не произошло, спросил Пашу:

— Ты опять не послушался и убил моего крота, так ведь, Паша?

— А ты не видишь?! — усмехнулся Паша. — Сегодня я убил не белого, а серого крота. Не священного. Сегодняшний крот толстый, как и ты.

— Говоришь, на меня похож, да? — улыбнулся Борбок-Кара. — Хочешь, в таком случае, я покажу тебе урок культурных, оч-чень культурных парней?

Метирей и я, даже сам Паша — все мы удивились: какой это урок? Что-то теперь он покажет?..

— А не хочешь ли посмотреть Москву, Паша? — Наш вождь, хитро улыбаясь, уверенно поводя мясистыми плечами, неторопливо подошел к Паше. Наш друг не сдвинулся с места, стоял и ждал. — Ке-ке-ке, Паша, сейчас я покажу тебе Москву! Слыхал, что есть такая, а?

— Покази! — Паша, конечно, чуял недоброе, но сдаваться не хотел, ответил тверже: — Хочу посмотреть!

Борбок-Кара кинулся на Пашу, схватил его за уши.

— Вот тебе Москва, посмотри! — он приподнял с земли хилого, но цепкого мальчика.

Тот закрыл от боли глаза, мотал головой и хотел вырваться из рук предводителя. Болтая ногами, он случайно ударил меж ног нашего вождя. Борбок-Кара сразу же вскрикнул от боли, отпустил его уши, весь скорчившись, долго катался по земле и стонал. Слезы текли из глаз. Мы стояли рядом — и Паша тоже — и молча смотрели на него.

Я не помню, чтоб после этого между Борбок-Карой и Пашей случались столкновения.

Непонятно нам было одно: где Борбок-Кара научился, сказав: «Хочешь ли посмотреть Москву?» — хватать за уши и поднимать за них человека? Мы долго мучились догадками и наконец спросили самого Борбок-Кара об этом, но он толком ничего не ответил, а вместо объяснения обронил загадочное слово, которое удивило нас еще больше и которое осталось в языке нашего Борбок-Кара на всю жизнь:

— Это по-литика!

С этого момента он всегда — подходило, нет ли — любил вставить: «По-литика».

Что это значило? — мы озадаченно смотрели друг на друга. А через какое-то время нам стало известно...

Однажды Борбок-Кара, чтобы сдать шкурки кротов и сусликов госторгу, спустился с гор в Ело. Это село находится в десяти километрах от нашего Кайру. Дети, живущие в таких больших селах, как Ело, знают многое. Куда нам до них!

Сдав шкурки и получив за них немного сахара и муки, Борбок-Кара возвращался в Кайру-Бажи. Когда он шел между двух деревень, ему встретились мальчишки из Ело. В те годы был обычай: случайно встретившись, ребята двух разных сел должны были помериться силами. Когда Борбок-Кара отказался от состязания, то еловские хитрецы ему предложили:

— Если ты не хочешь драться с нами и бороться, давай мы тебе покажем Москву. Хочешь ли посмотреть, парень из Кайру, Москву?

— Что это значит? — поинтересовался наш вождь.

— Это по-ли-тика, — хором ответили ему шустрые мальчишки из Ело. — Нельзя, друг, вперед объяснять. Вот согласись и скажи нам: «Хочу посмотреть Москву», тогда все поймешь. И эту новую политику покажешь кайрунским ребятам...

Очень интересно стало Борбок-Каре. Перед его глазами встали удивленные лица Паши, Метирея и мое, наверное. Решил он узнать тайну политики.

— Где она, ваша Москва, хочу посмотреть! — заявил Борбок-Кара...

Вот такая она была, политика. А для нас было открытием, что в том самом Ело живут парни умнее и сильнее даже нашего Борбок-Кара. Нет, в далекую страну, называемую Ело, лучше нам не ехать, не показываться перед такими умными мальчишками...

Ай, Борбок-Кара, ай, Борбок-Кара...

Я до сих пор не могу забыть твой железный кол. А сам ты помнишь, какой это был кол?..

Он был четырехгранный, тяжелый и с приплюснутым острием. Ни у кого из нас не было такого железного кола. Мы пользовались деревянными. Копать ими норы кротов и сусликов было мучительно, особенно ранней весной, пока земля была еще мерзлой. Подолы наших рубашек вечно были порванными. Помнишь ли, Борбок-Кара, наши рубашки?.. Мы животами налегали на кол и крутились, чтобы вырыть нору или выкопать корень кандыка. Очень больно было животам. Даже теперь вспоминать об этом горько. Неужели мы тогда не могли найти пужного железа, чтобы сделать для себя хороший, острый кол, как у Борбок-Кары?!

Особенно долго и тяжело было выкапывать деревянным колом корни кандыка. Когда отпадут лепестки цветов кандыка, останется круглая головка — серая, словно отлитая из свинца пуля. Это значит, созрел кандык. Съедобный корень его не больше пальца маленького ребенка. Вывернешь землю, оттуда выкатится белый корень. Изредка попадется большой корень. Но все равно не наешься, коль копаешь деревянным колом.

Всюду нужна хитрость. Мы старались точно налечь на колышек ремнем своих штанов. И живот не так болит, и рубашка не рвется. Но если соскользнет колышек с пряжки, то может проткнуть живот. Еще один подходящий способ — подкладывать свои шапки. Так тоже лучше, мягче. Правда, жалко шапку, она портится, рвется. А где взять новую?..

Борбок-Каре хорошо. Он железным колом быстро действует и при копании нор, и при добыче кандыка. Не устает, как мы. Все ему достается куда легче.

— Ох, надоело есть кандык. Хватит! — скажет он громко, чтобы мы завидовали ему. Ляжет на зеленую траву, подставит под жаркое солнце загорелый живот и, тихо отбивая мелодию, будет шлепать по нему ладонями.

— Разреши, Борбок-Кара, я покопаю твоим железным колом? — так мне приходилось много раз обращаться к нему.

А Борбок-Кара медленно повернет голову и, как всегда, скажет:

— Братъ — бери, Барыс. Но за это накопасшь мне пригоршню отборных кандыков...

Он мучил нас, как хотел, но и жить тоже учил. Сколько бы он нас ни обманывал, сколько бы ни издевался и ни смеялся над нами, мы все равно от него не отказывались. Верили ему и слушались. Словно нас привязали к нему невидимой веревкой.

Ай, Борбок-Кара, ай, Борбок-Кара... Помнишь, как ты заставил меня драться с Метиреем?

Как это началось?

— Ты хорошо знаешь, Барыс, те две лиственницы, которые в прошлом году вырвал из земли и свалил большой осенний буран? — однажды сказал мне Борбок-Кара.

— Которые? А-а, чуть ниже нашей стоянки? — вспомнил я.

— Да. Точно говоришь. Молодец, помнишь. — Откуда мне было догадаться, какая коварная мыслишка прячется в голове Борбок-Кары. А он продолжал: — Под теми упавшими деревьями проторили себе дорогу черные кроты. Сейчас время их гона, они там беспрерывно снуют. Ты не говори ни Метирею, ни Паше, поставь свой капкан. Сам знаешь, черный крот дорого стоит: одна шкурка — рубль двадцать. За это выкопаешь мне всего пригоршню кандыка. Возьми мой железный кол.

Ясно, я обрадовался доброте Борбок-Кары. Пока он лежал под жарким солнцем и грел живот, я быстро накопал ему кандыков и побежал к тем деревцам. И думал по пути: все же какой хороший друг у меня!

Только ведь Борбок-Кара никому не даст зазря ни одной копейки. Оказалось, что он о тропе черных кротов «совершенно секретно» сказал и Метирею. А черный блестящий крот попал в мой капкан.

Метирей летом никогда не носил рубашку. Оттого тело его, особенно спина, было коричнево-черным. Иной раз, мне казалось, он очень походил на быка, копытами рывшего землю: лицо чумазое, на спине и груди полосками и мелкими ручейками грязь и пот. Глаза у Метирея большие. Когда он на что-то сердится, на белках глаз проступают тонкие красноватые прожилки.

— Почему ты поставил свой капкан на то место, где давно стоит мой?! — Метирей шел навстречу мне.

— Нет, это ты поставил на мое место! — не менее грозно наступаю и я. — Тропу черных кротов мне указал Борбок-Кара...

— Он мне сказал! — не уступает Метирей.

— Барыс врет, Метирей, — вдруг громко засмеялся

появившийся Борбок-Кара. — Ты, оказывается, великий вун! — обратился он ко мне, потрясенному его коварством. — Я никогда не думал, что ты такой. Тропу кротов я показал только одному Метирею. Барыс тебя обманывает, Метирей.

Почувствовав, что Борбок-Кара его поддерживает, Метирей яростно напал на меня. А почему я должен отступать?.. Тут же дал ему сдачу. Началась ожесточенная драка...

А Борбок-Кара сидел на одной из упавших лиственниц и, подражая алтайскому кайчи — сказителю горлового речитативного пения — и как бы играя на топшуре — музыкальном инструменте, — грязными ладонями хлопал себя по животу и хриплым голосом пел:

— О-о-о-ох, бууй, бууй, буй... Бодаются мой черный и белый быки, о-о-о-ох... Копытят они черную землю, бууй-бууй, буй... О-о-о-ох, из их ноздрей летят брызги красной крови... О-о-о-ох, что делать, бодаются, бодаются быки... Бууй-бууй, буй, черный бык и белый бык, страшные они, сильные они... Ай-уй, ай-уй, оч-оч, быки сильные мои, хорошие мои... О-о-о-ох!..

Мы дрались под пение Борбок-Кары, злые на него. Но, скажу честно, откуда нам было быть похожими на могучих быков?! Просто были мы похожими на двух беспомощных петушков.

Умывая разбитое лицо, я думал: «Неужели ты, Борбок-Кара, не ощущаешь, как проходит время? Не только ты, и мы растем, умнеем и силу набираем. А если мы отомстим тебе, а, Борбок-Кара? Хоть однажды... Пусть пройдет время, немного подожди, дружок. И над твоей лишейной головой грянет однажды возмездие. Тогда поймешь, что такое: «О-о-о-ох, бууй-бууй, буй...» Мы припомним тебе, как смеяться над чужой бедой!»

Летом на актелское стойбище приезжало много людей. В это время весь колхозный скот на альпийских лугах. Через стойбище проходили все пути-дороги пастухов и чабанов, живущих дальше, в других горах и лугах. Когда они двигались к своим джайлау, то нередко даже ночевали у нас. В этом была своя прелесть.

Как бы там ни было, работа доярок связана с молоком. А молоко — это различные молочные продукты. Лето — самое веселое и праздничное время.

В годы моего детства алтайцы могли выпить и немного повеселиться лишь в летнее время. Из молока готовили чегень, или айран, — квашенное наподобие кумыса молоко. Из него варили араку — алтайскую водку. Водки в то время в магазинах почти не было. Употребляли только араку. И это, повторяю, бывало лишь летом, во время большого молока.

Однажды в Актеле ночевал табунщик по имени Яра, пасший колхозных коней в урочище Маргалу. Он был старше нашего предводителя Борбок-Кары. Значит, он был сильнее. Видимо, и храбрее нашего вождя: ведь он далеко в горах один ночует, выполняет ответственную работу. Табунщик — звучит-то как здорово! А наш Борбок-Кара пасет лишь коров. Пасты коров — разве это удел мужчины? Коровьи пастухи не ночуют в глухой и таинственной тайге одни, под кедром. Они всегда возвращаются к вечеру в стойбище. Пастух всегда среди людей.

Яра был немножко косоглазым и с вывернутыми губами. А конь его был подобен быстрокрылой птице. Таким и должен быть конь настоящего табунщика. Из колхозных коней он выбирал себе самого лучшего. У Яры был конь стальной масти, с подтянутым животом, красивой головой, был конь высоким и тонконогим.

Вечерело. Яра снял седло с коня и повел своего красавца на травянистый луг. Там он привязал его длинным арканом к колу, оставив пастись до утра.

Когда он вел коня, меня вдруг осенила идея: отомстить Борбок-Каре. «Из-за тебя, из-за твоего обмана мы с Метиреем зря дрались, Борбок-Кара. Дождался наконец-то я своего часа. Теперь ты поплачешь», — ликовал я, радовался своей находке. От неожиданной темной мысли даже жарко стало.

Утром, когда все встали, не оказалось на месте коня табунщика Яры. Иноходец исчез. Куда? Конечно, помчался в Маргалу, где табунуют его многочисленные подруги. Извиваясь змеей, следы аркана и коня ушли по пыльной тропинке к перевалу, откуда вчера спустился Яра. Настоящий табунщик сразу узнает следы своего коня. Яра следопыт, его не проведешь.

Да, но как пешком доберется Яра до Маргалу? У наших матерей-доярок нет коней, чтобы дать Яре. Даже колхозное молоко они возят на быках.

Навьючив на спину седло и потник, Яра — что де-

латы! — ушел пешком. Трудно было идти через горы и перевал пешком, да вдобавок столько дум одолевало в пути: вдруг конь уйдет в сторону, за что-нибудь зацепится арканом и умрет от голода, или намотается аркан на ноги, или упадет конь в пропасть — разные мысли мучили Яру. Как и чем платить за коня колхозу? У Яры волос на голове не хватит, чтобы возместить стоимость такого иноходца...

Уж больше тридцати лет прошло с тех пор, Борбок-Кара, ты не сердись. А впрочем, это дело твое, можешь сердиться. Хотя ты и сам тут виновен. Уроки-то ведь твои, Борбок-Кара. Ты помнишь свою радость и свой смех, когда мы с Метиреем разбивали друг другу носы? А наши синяки и царапины на лицах, а, Борбок-Кара? Ты видел их и хохотал! Как ты пел-кайларил, сидя на упавшей лиственнице, глядя, как мы истязаем друг друга! Или ты забыл об этом? Вот ты и получил: «О-о-о-ох, бууй-бууй, буй...»

...День кончился. Медленно погас огонь в очаге. Людей объял глубокий сон. Я тихо встал с постели, вышел из юрты. Трава на лугу была холодной и сырой. Быстро подбежал к коню Яры, отвязал его, махнул рукой: «Иди, ты свободен». Конь, почувствовав волю, легкой рысцой направился в сторону Маргалу. А куда же еще?..

Через несколько дней опять по перевалу, глядим, спускается Яра на своем пританцовывающем аргамаче. От легкого движения иноходца позванивают многочисленные кольца и железяки-безделушки, украшающие сбрую. Вот Яра подъехал к юрте, собирается слезть у коновязи и привязать коня. А я тут как тут!

— Вы знаете, Яра, — тихо шепчу ему, — но только никому не говорите...

— Ты о чем? — Яра, косыми глазами подозрительно посмотрев на меня, почему-то снял с головы шапку, вытер ею с некрасивого, будто чьими-то сильными пальцами приплюснутого лица пот. — Скажи-ка, о чем я должен никому не говорить?

Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. И все же я стою в нерешительности, молчу, боюсь высказать свою мысль до конца. Видать, Яра что-то почуял и потому, подражая мне, таинственным шепотом спросил:

— Что ты хотел мне сообщить, парень? Клянусь, я никому не скажу!

— Если вы скажете Борбок-Каре, он меня сегодня же убьет, — вынужден был я ему шепнуть.

— Клянусь!

— Я знаю, кто отпустил вашего коня...

— Кто? Скажи-ка, милый? — Яра насторожился. — Умру, никому не скажу, вот! — он быстро надел шапку, указательным пальцем чиркнул по горлу. — Клянусь!.. Кто?

— Борбок-Кара, — выдохнул я.

— Мм-мы! — В косых глазах Яры засверкали мелкие искорки молний. — Мм-мы! Я его сейчас! — Яра повернул коня в сторону загона, где шла вечерняя дойка.

Солнце еще не закатилось. Летом оно всегда уходило как бы нехотя. Вот и сейчас казалось: оно присело на гольцы западной большой горы и наблюдает оттуда за нашим стойбищем. Мне думалось, что солнце жалеет наших матерей, потому и не торопится уходить, ждет, когда они закончат свою работу. При свете дня легче работать. Ведь каждая доярка должна подоить шестнадцать — восемнадцать коров. И каждая хочет закончить дойку дотемна. И доброе солнце понимает это.

Борбок-Кара сейчас возле загона: он всегда в это время помогает дояркам — вовремя пускает к матерям телят, потом снова их отгоняет. Иначе нельзя. Если с коровой оставить теленка — к утренней дойке в ее вымени не останется ни капли молока.

Я притаился у коновязи, смотрю вслед Яре. Как только он примчался к загону, оттуда раздались крики:

— Эй, Яра, ты сдурел, что ли?

— Что ты делаешь, разольешь молоко!

— Не пьяный ли он, люди?

Яра нашел Борбок-Кару. Я от испуга сжался в комок. Что теперь будет? Наверное, Борбок-Кара убежит от Яры. Может быть, спрячется среди коров или, как белка, полезет на дерево?

— Мм-мы! — зло выстонал Яра и, сидя в седле, белым волосяным чумбуром-поводком ударил по голове Борбок-Кару. — На, получай, змееныш, отпустивший моего коня! — Видать, он озверел. — На, на тебе! — еще и еще раз хлестнул он по пестрой голове нашего предводителя. — Сладко ли, когда мой белый чумбур причесывает твою вшивую голову?

Борбок-Кара обхватил голову руками, присел, скорчившись, там, где его настиг Яра. Сперва я подумал злобно: «Так тебе и надо!» Но вдруг что-то защемило в груди, заныло в сердце. Я не мог кайларить и буйкать,

как Борбок-Кара!.. Сорвался с места и побежал к серлан-тому табунщику и своему вождю.

— Не бейте, Яра, не бейте его! — кричал я, плача. — Не надо... я... я...

Но табунщик на меня даже не взглянул. Еще раз два или три ударил он нашего предводителя тем же чумбуром по коричневой спине, оставляя следы, похожие на прочерки молний, повернул своего иноходца в сторону дороги, уходящей в деревню, и помчался. Не так далеко отскакав, осадил вдруг коня, повернул искаженное лицо к загону и крикнул:

— Понял теперь, Борбок-Кара, как отпускать коня? Попробуй хоть раз еще поиграть со мной! Мм-мы! — И, не найдя, что еще сказать, он грозно фыркнул и помчался дальше.

Борбок-Кара ни слова не промолвил, лишь, медленно приподняв голову, как-то сбоку взглянул на удаляющегося табунщика острыми, как бритва, полными слез глазами. А на голой спине нашего непобедимого вождя были и до сих пор мне видятся темно-красные следы от ударов.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ —

о смешном и печальном случае,  
происшедшем в больнице

Если бы не доктор, моя Ольга Петровна, «Солома волос, ресниц синева», и краешками ушей не услышал бы я об истории, которая произошла с Борбок-Карой в больнице.

В жизни бывает так: близкий тебе человек становится другом твоего приятеля. И тогда не замечаются недостатки, прощаются слабости друг друга. Костер, зажженный твоим приятелем, кажется его новому другу необыкновенно светлым и теплым, слова его, кажется, имеют высокий смысл и мудрость, ибо исходят от друга твоего друга.

Борбок-Кара часто приходил ко мне в шестую палату, мы вспоминали прошлую нашу жизнь, смеялись и печалились. И Ольга Петровна начала привыкать к моему приятелю, даже изредка задавала ему вопросы о лекарственных травах. Как-то шутливо назвала его Тибетским Лекарем, и это прозвище понравилось Борбок-Каре.

— Скажите мне, Тибетский Лекарь, — иногда экзаменовала его Ольга Петровна, — почему, например, алтайцы прикладывают к ране листья бадана?

— Бадан хорошо вытягивает яд из раны, — уверенно отвечал Борбок-Кара. — Кроме того, он не прилипает к ране, то есть делает перевязки безболезненными.

— А почему вместо чая заваривают иногда корни пиона?

— Эти корни мы даже в суп кладем. Ничего тут плохого нет, — Борбок-Кара, видно, плохо знает лекарственные свойства этого корня и потому отвечает уклончиво. — Приятный у него запах. К тому же говорят, что корень пиона помогает работе сердца... А скажите мне, Золотой Волос — Алтын-Чач, почему русские любят капустный суп?

Постепенно, в таких вот разговорах и диалогах, между моим доктором и Борбок-Карой установились весьма теплые, приятельские отношения.

— Здравствуйте, Тибетский Лекарь!

Борбок-Кара отвечал непременно тем же шутливым тоном:

— Приветствую вас, Золотой Волос — Алтын-Чач.

— Я только начала привыкать к «Соломе волос, ресниц синеве», — Ольга Петровна улыбалась, показывая красивые белые зубы. — А вы мне дали новое прозвище. Вдруг я потеряюсь среди этих «золотых» имен? Вдруг забуду свое собственное?

— Какие у вас белые зубы, Алтын-Чач! — не удержится Борбок-Кара. — Если бы мне такие зубы, не был бы чабаном, а стал бы именно врачом.

Ольга Петровна от души смеялась. Потом вынимала маленький платочек и осторожно вытирала им уголки своих небесного цвета глаз.

— Вот Барыс ваши волосы сравнивает с соломой, — не унимался Борбок-Кара и качал большой головой. — Разве красоту можно сравнивать с никудышной соломой?!

— Но ведь это не моя выдумка... — начинал оправдываться я.

— Кто бы ни выдумал, все равно не подходит! — останавливал меня жестом Борбок-Кара. — Пусть тебе будет «Солома волос», а для меня Ольга Петровна — Алтын-Чач, Золотой Волос. Это не прозвище, а мое почтительное отношение.

В одну из наших встреч в шестой палате Борбок-Кара пожаловался Ольге Петровне:

— Запах лекарств, мне кажется, проник во все мое тело, Алтын-Чач. Кажется, я начал забывать красивые, свежие запахи тайги, цветов и трав.

—Что-то не пойму, — Ольга Петровна посмотрела на моего друга изучающе. — Не заболели ли вы ностальгией?

— Когда я смотрю вниз, то не могу поднять голову, а когда подыму голову вверх, то не могу посмотреть на землю, — так жаловался он Ольге Петровне на свой радикулит. И тут же, как и раньше — ни с того ни с сего, вдруг задал странный вопрос: — Скажите, Алтын-Чач, может быть, в суставах наших костей тоже имеются зубы, а? Как вы думаете?

Ольга Петровна засмеялась. Наверное, подумала, что это очередная шутка Борбок-Кары. А мой друг, не обратив внимания на смех, сам ответил на свой вопрос:

— В моих суставах, особенно на шее и спине, мне кажется, сидят какие-то щенята. Грызут они меня, живого, день и ночь своими острыми клыками так, что иной раз стоном стонут и плачут мои кости. Мало того, криком кричат от боли.

Слушая друга, я подумал, что так оно и должно было случиться. Ну, подумайте сами, кто с самого детства до сегодняшнего дня столько замерзал, столько выдержал страшных зим Кайру-Бажи, сколько выдержал их Борбок-Кара? Кроме меня, кто его поймет?.. Кто, как Борбок-Кара, с раннего детства трудился, безропотно выполнял самые разные и тяжелые работы?.. Когда теперь я думаю об этом, то осознаю свою вину перед ним: я охаивал его, писал о нем фельетон, а надо бы орден ему дать! Ему скоро пятьдесят. Но за эти годы он ни разу не побывал на курорте. Вот рядышком Белокуриха — знаменитая здравница Алтая. Туда приезжают со всего белого света. А Борбок-Кара не знает туда дорогу. И никто не пытается указать ему эту дорогу. Он даже порог больницы переступил впервые. Вся его жизнь прошла на стоянках и в горах, вечно в седле, под дождем и снегом, а эти ночи на земле, под каким-нибудь мохнатым кедром? Горы Алтая — дом его, от них и боль его.

— Меня сюда отправил насильно ветеран совхоза, — говорит Борбок-Кара. — Тот самый Диман, который вместе с тобою за тот несчастный случай с овцами чуть ли не сунул меня в тюрьму. Довез сюда на своей легковушке и устроил в этой больнице.

— Не ветеран, а ветеринар, — поправляю я и виновато молчу.

Борбок-Кара никогда бы сюда не приехал из-за какой-то простуды. Дома-то он давно бы уж вылечился: накопал

бы корней каких или нарвал полезных листьев с деревьев, растущих в древних горах Кайру-Бажи и Акте́ла, заварил бы как положено — и вольно и счастливо ходил бы уж иль ездил на коне за своими овцами по родной земле, горам и долинам, а не валялся в этой проклятой больнице.

— У меня есть возможность вам помочь, — деловито сказала Ольга Петровна, выслушав жалобы моего друга. — Вам, Тибетский Лекарь, необходим массаж. Хороший массаж помогает и при радикулите, и при остеохондрозе. Я поговорю с вашим лечащим врачом, вам должен помочь массаж...

Борбок-Қара вдруг весело улыбнулся:

— Значит, мазаж... Значит, меня, мужчину, как женщину, надо гладить, да? — Не дождавшись ответа, он опять восхитился: — Ох, какие у вас белые зубы, Алтын-Чач, они напоминают белизну кандыка. Знаете, в горах есть такие цветы, а корни их очень похожи на ваши зубы...

— Коль ваши глаза, Тибетский Лекарь, до сих пор замечают красоту женских зубов, жить вам еще сто лет, — засмеялась Ольга Петровна и направилась к двери.

Борбок-Қара крикнул ей вдогонку:

— По-литика, Алтын-Чач!

Через несколько дней в мою палату вбежала возбужденная Ольга Петровна:

— Я вас очень прошу, поговорите со своим другом. Он отказался от водного массажа, да еще как отказался! А ему бы это очень помогло...

...Нашего Борбок-Қару в массажной встретила молоденькая девушка, едва ли в прошлом году закончившая десятилетку. Как мне рассказывал позднее сам Борбок-Қара, глаза ее были детские и чистые, голубые-голубые. Словно вода того самого безымянного озера в долине Ары-Кем, которое нашел наш предводитель, когда в тех местах пас овец, — безупречной чистоты. Можно все камни пересчитать на дне. Вот какие бывают глаза! А кожа лица какая: белая, первозданной свежести! Сам бог свидетель, говорил Борбок-Қара, совсем ребенок. А походка, движения — летит, словно легонькая бабочка. Нет, не бабочка, а самая нежная и ласковая пташка под ясным небом! Первая снежинка, спустившаяся только что из страны, где, пожалуй, живет один бог...

И вдруг эта бабочка, или пташка, или снежинка! — совершенно серьезно говорит Борбок-Қаре:

— Раздевайтесь...

Мой друг замешкался. Но что делать, коль надо, — разделся по пояс. А девчонка-массажистка спрашивает:

— Вы что, в ванну в брюках ляжете? Время идет, вода остывает. Раздевайтесь быстро и ложитесь!

Что?! Борбок-Кара не то что раздеваться, наоборот! — скоренько надел свою больничную полосатую курточку — и к двери. Девчонка — к нему:

— Я не собираюсь с вами шутить. Раздевайтесь и ложитесь!

Борбок-Кара наотрез отказался. «Бабочка» полетела жаловаться к лечащему врачу Борбок-Кары, тот — к Ольге Петровне... И вот я слушаю друга и думаю, как все-таки убедить его принять сеансы массажа?

— Разве у них нет мужчины, который может сделать мне мазаж?! — кричит на меня Борбок-Кара, будто во всем виновен я. — Ты зайди в эту комнату — сам увидишь. Говорю тебе, там ребенок сидит, девчонка совсем... «Раздевайтесь...» Куда велишь мне спрятать свою совесть? Я пока не потерял мужское достоинство! — никак не мог успокоиться Борбок-Кара.

Будь что будет, решил я!

— И мне массаж делала эта самая девчонка, — обманул я друга. — Она только с виду молодая, а так она уже врач, специалист, — защищал я медсестру, которую в глаза не видел.

— Мы с тобой разные люди! — не сдавался Борбок-Кара. — У тебя стыда нету. Ты — городской... А я — по-прежнему алтаец. Понимаешь, ал-та-ец!

— Какой ты алтаец и мужчина! — продолжал я хитрить и нарочно сердиться. — Ты, Борбок-Кара, настоящий трус... Дрожишь, увидев женщину. Что она, предлагает тебе в постель с ней ложиться или лечить тебя хочет? Ты же сам выклянчил этот массаж, — задел я его самолюбие. — Вспомни, как подхалимничал перед Ольгой Петровной! А теперь ведешь себя как мальчишка...

— Мне не по душе такая политика, — явно сникшим голосом сказал Борбок-Кара и как-то беспомощно посмотрел на меня. Помолчали. Вдруг он спросил: — На самом деле эта девчонка своими руками твои кости гладила, да?

— Гладила! — не моргнул я глазом.

— Ну и как? После ее мазажа утихли боли в суставах или нет?

— Сейчас я разве жалуюсь врачам? Значит, все нормально.

Убедил я его. Вошел с ним в массажную. Там он нехотя, очень стесняясь, разделся и вошел в ванну. А когда начался сам процесс массажа, о боже мой! — неожиданно случилась другая беда. Нет, чего только не увидишь!

Когда медсестра при помощи специального шланга начала делать Борбок-Каре подводный электромассаж, комната чуть не рухнула от страшного, нечеловеческого хохота моего друга. Он, выплескивая из ванны воду, крутился, извивался под шлангом и дико при этом хохотал. Мне никогда до этого не приходилось слышать, чтоб Борбок-Кара так громко смеялся. Прежде смех его был хитроватым и тихим: «Ке-ке-ке, Паша, с каких пор ты привык убивать священных кротов, а?..» Но сегодня с ним что-то стряслось: «Ха-ха-ха!.. го-го-го!.. хо-хо-хо!..»

Медсестра испугалась и выключила аппарат. Но Борбок-Кара не мог остановиться. Он захлебывался от смеха. Наконец в изнеможении утих, лежал в ванне на животе. Медсестра снова включила аппарат, намереваясь продолжить массаж, но едва она поднесла шланг к спине Борбок-Каре, он с воплем и хохотом выскочил из ванны, чуть не сбив с ног массажистку, рванулся к двери и, мокрый и голый, выбежал в коридор. Увидев в коридоре ожидающих своей очереди больных, он опомнился, пулей влетел назад в массажную, лихорадочно стал одеваться. Но теперь начала хохотать медсестра:

— Хи-хи-хи... Ох!.. Мне такой пациент сроду не попался... Хи-хи-хи... Вам надо сперва нервишки подлечить, а потом сюда... Хи-хи-хи... Мас-са-аж ему... хи-хи-хи...

А у Борбок-Каре будто отнялся язык. Мокрый, он безуспешно пытался поскорее натянуть на себя больничную пижаму. Наконец кое-как оделся, быстро пошел к двери, но неожиданно обернулся к массажистке и показал ей язык. Бедная девчонка покатила со смеху.

— Чи-чи-чи... Почирикай пока! — передразнил он ее. Тут Борбок-Кара заметил меня, весь передернулся и налетел коршуном: — Смеешься, да, и ты смеешься?! «Гладила»?! «Руками»?! Сейчас я тебя так поглажу!.. Я в суд на вас подам, будет вам тогда «чи-чи-чи»!.. Вы специально издевались надо мной! Я от рождения щекотки боюсь, вы нарочно!..

После этого никто, конечно, не мог затащить Борбок-Кара в массажную комнату. Он так до конца и не поверил, что существует такой метод лечения радикулита и остеохондроза. Думал, что над ним специально решили

пошутить. Долго он сердился на меня и Ольгу Петровну. Сердце моего друга и давнего предводителя простило нас только тогда, когда мне удалось однажды уговорить его посмотреть, как другие переносят столь испугавшую его процедуру. Мы вошли с ним в массажную. В той же самой ванне, где недавно «пытали» его самого, спокойнехонько лежал больной, а девчушка-массажистка, та, что «издевалась» над ним, Борбок-Карой, при помощи того же шланга и воды делала больному массаж. Борбок-Кара собственноручно проверил, включен ли аппарат, еще и еще раз недоверчиво посмотрел на больного, на медсестру и, озадаченный, вышел из массажной.

Мы с Ольгой Петровной были прощены. Но уговорить Борбок-Кару принять массаж, думаю, никогда и никому все-таки не удастся.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ —

о том, как Борбок-Кара учился  
выть по-волчьи,  
какими друзьями были Папай  
и Ярын и воспоминания о некоторых  
других случаях в урочище  
Кайру-Бажи

Имена двух известных в наших местах охотников Папая и Ярына навеки связаны с охотой на волков, злее и коварнее которых, пожалуй, в наших горах не найти. В те годы если доходил до нас слух, что кто-то убил волка, то мы уже знали: это мог сделать только один из них — Папай или Ярын.

Волки, волки, волки...

Коль все события в этой книге текут совершенно свободно, по вольным руслам, то почему я свой новый рассказ должен начать с волков? Нет, я начну его с поэзии. С поэзии?! С чьей? Очевидно, читатель удивится, если я скажу, что мой рассказ связан с поэзией шотландского поэта Роберта Бернса.

Какая может быть связь между волками, день и ночь рыскающими в лесах и горах Кайру-Бажи, и поэзией Бернса? Да, между поэзией великого шотландца и волками трудно непосвященному перекинуть мост. А он все-таки существует — как невидимая связь между различными землями.

В стиле разговорной речи, в диалогах, особенно в

народном юморе разных наций всегда можно найти общую основу. Ведь красота живого слова, краски и запахи земли во многом схожи. К тому же поэзия, если она настоящая, всегда касается вечных тем: любви и человеческой доброты — где бы она ни родилась. Истоки и язык любви, ее характер, хитроватые сплетения ее ситуаций в разные времена и у разных народов зачастую схожи, как бусы на одной нитке.

- Торын, Торын, открой мне дверь!.
- Кто там ко мне стучится?
- Конечно, это я, Торын...
- А кто ты, я не знаю.
- Как можешь не узнать меня?!
- Назад ступай, не знаю.
- Но я Папай, Торын, открой!
- Я двери не открою!
- У двери буду я стоять...
- Ярын придет ночью.
- Ярын далёко, он в горах...
- Но с гор спуститься можно!
- А спустится — я убегу.
- А если я открою...
- Открой, Торын, ведь это я!

Торын — жена Ярына. А Папай — друг Ярына. Был ли действительно такой диалог — точно не могу утверждать. Может быть, его выдумал какой-нибудь кайрунский шутник. Все возможно. Но наши люди, как только видели, что едет к ним на своем темно-сером коне дед Папай, тут же начинали улыбаться и шептаться меж собой: «Торын, Торын, открой мне дверь», и кто-нибудь непременно отвечал: «Ярын придет ночью».

Как знать, может быть, между Папаям и Торын в молодости и на самом деле состоялся именно такой разговор, а? Конечно, сам я не мог слышать его, поскольку все они — и дед Папай, и его друг дед Ярын, и тетушка Торын — были уже глубокими стариками, когда я был еще ребенком. Но старцев Папая и Ярына не разлить было водой. Крепкими были они друзьями. Лето ли, зима ли — всегда вместе: ходили на охоту, заготавливали корм для своих коров и лошадей, в работе и в отдыхе — вместе.

Все дети на земле плачут одинаково. Нет разницы между черными и белыми детьми — все улыбаются одинаково мило. Так и поэзия разноязычных, разноплеменных народов нашей многотрудной земли болеет общей болью, радуется, плачет, горюет, проклинает на одном языке — языке чувств. И эта общность удивительна и радостна.

Кто знал в те далекие и тяжелые годы в моем Кайру, что жил и творил на белом свете такой поэт, как Роберт Бернс. О его «Финдлее» не подозревали не то что Папай и Торын, о нем, как и о самом поэте, до недавнего времени не слыхивал и живущий в последней четверти двадцатого столетия Борбок-Кара.

Между английским и алтайским языками нет ничего общего. Но стоит мне прочесть «Финдлея» и вспомнить далекое «Торын, Торын, открой мне дверь», я чувствую единую волю прекрасного искусства, слышу в стихах, созданных на таких разных языках, общую музыку.

«Финдлея» на алтайский язык перевел наш широко известный, но так рано ушедший из жизни поэт Лазарь Кокишев. Сегодня это стихотворение популярно среди алтайской молодежи, особенно оно по душе влюбленным юношам и девушкам. А вот «Торын, Торын, открой мне дверь» в моем родном Кайру помнят разве люди старшего возраста да, возможно, мои ровесники, а больше никто на свете эти стихи не знает...

Как-то в палату ко мне, когда я думал об удивительной общности поэтического языка, пришел Борбок-Кара. Я очень обрадовался ему и, приподнявшись, начал читать «Финдлея» на алтайском языке:

— Кто там стучится в поздний час?

«Конечно, я — Финдлей!»

— Ступай домой. Все спят у нас!

«Не все!» — сказал Финдлей.

Борбок-Кара заулыбался, прошел к стулу, поглаживая короткими пальцами свою густую кудрявую бороду. Но вдруг он прервал меня:

— Э-э, друг, оказывается, ты забыл ночной разговор деда Папая и тетушки Торын. Неправильно читаешь. Вот послушай меня:

— Торын, Торын, открой мне двери!..

— Кто там ко мне стучится?

— Конечно, это я, Торын...

— А кто ты, я не знаю...

Он дочитал до конца. Тогда я рассказал Борбок-Каре о Роберте Бернсе и его «Финдлее».

— Так не может быть! — горячо возразил Борбок-Кара. — Не Биндлей, а Торын, Торын должно быть! Это стихотворение нашей земли. — Потом он задумался и неожиданно протянул: — А-а, вспомнил, вспомнил... Помнишь, после войны к нам в Кайру приезжали какие-то иностран-

цы? Помнишь, один из них снимал на карточку наскальные рисунки?..

— Ну-ну, помню, приезжали. И что?

— По-литика! — Он вскинул указательный палец правой руки и хитровато посмотрел на меня. — Не догадываешься? Услышал этот самый Роберт наше стихотворение — и переделал: «Торын, Торын...» стал «Биндлеем». Это точно, друг! Понимаешь, новая по-литика! — И, понизив голос, прошептал: — Ты, Барыс, этому самому Роберту напиши письмо, а я подпишу. Скажи ему, что стихотворение нашей земли «Торын, Торын...» должно остаться нашим. Зачем нам какой-то Биндлей?

Вот какие бывают странные вещи. В народной поэзии есть своя притягательная сила, вечная и неповторимая. Родиной высокого духа поэзии не обязательно может стать страна древней цивилизации и культуры, ею может оказаться и простой шалаш под кедром в глухой тайге. Великие стихи могут создаваться не только на языке великих, но и малых народов...

Опять зима в Кайру-Бажи. Ядовито-морозные дни февраля. В один из таких дней наш предводитель возвращался домой радостный и вдохновенный. Пока паслись коровы, он успел осмотреть свои капканы и силки, и теперь за спиной его белел заяц, попавший в его петлю. Как же не радоваться такой удаче! Борбок-Кара привел коров в Кайру-Бажи и вошел в нашу единственную избушку, напевая: «Торын, Торын, открой мне дверь!..» Заходит — а возле горящего очага сидит дед Папай. Борбок-Кара осекся, растерялся и с грохотом сбросил со спины замерзшего зайца. А дед Папай ухмыльнулся, оценивающе взглянул на упавшего зайца и подмигнул нашему вождю:

— Пой, Борбок-Кара, ке-ке-ке, почему ты такую хорошую песню прервал? Пой, а я послушаю, ке-ке-ке...

Борбок-Кара испугался. Он подумал, что дед Папай сейчас опять схватит его за уши крепкими, как щипцы, пальцами и будет их крутить. Но Папай в тот день был душою мягок и добр.

— Ну, Борбок-Кара, прошу тебя, спой еще раз. Я буду рад, ты вернешь мою молодость. Как ты сейчас пел? — «Торын, Торын, — попробовал запеть старик, — открой мне дверь!..» Видишь, нет у меня уже голоса, Борбок-Кара, ке-ке-ке... Где взять, у кого одолжить сильный голос, а, Борбок-Кара?

Как ни упрашивал Папай, побоялся петь наш предводитель.

Старик сменил тему:

— Ке-ке-ке, Борбок-Кара, не хочешь ли ты иметь чуткий слух, как у лисы? Согласишься — научу...

— Если стану чутким, как лиса, плохо буду спать, — отказался Борбок-Кара. — Ночью, как только завоют волки, проснусь.

— Тогда хочешь быть быстроногим, как заяц?

— Хочу, — согласился тут же наш вождь и друг. — Тогда бы на зверей я петли не ставил, а просто догонял бы и ловил их.

— Вот принесу тебе хорошие лыжи, Борбок-Кара, тогда с горы на гору будешь летать, как крылатая птица. Легко будет на охоту ходить. А хочешь научиться быть волчьим, Борбок-Кара?

— Если я завою, как настоящий волк, то испугаю своих коров и они побегут куда глаза глядят, — отказался Борбок-Кара. — Не хочу быть волком.

— Однако ошибаешься, — поправил его дед Папай. — Знаешь, в чем хитрость? Какой сейчас месяц?

— Кочкор — февраль...

— В месяце кочкоре каждый охотник должен уметь быть волчьим.

Куда клонит он свой разговор, что хочет сказать? Пока Борбок-Кара думал и сомневался, дед Папай серьезно объяснил:

— Месяц кочкор — это гон волков, Борбок-Кара. — В старческих глазах деда Папая сверкнули искры молодости. — Ты знаешь, Борбок-Кара, теперь волки на своем языке примерно такую же песню поют, как «Торын, Торын, открой мне дверь», и ищут друг друга. Дружат, в любовь играют. Понял теперь? Я тебя, молодого охотника, хочу научить петь на волчьем языке «Торын, Торын, открой мне дверь...». Как ты смотришь на это? Волчица ждет волка, а волк — волчицу: начался их свадебный месяц! Научишься быть, Борбок-Кара, убежавшего волка или волчицу встретишь меткой пулей. А пристрелишь волка, сам знаешь, Борбок-Кара, колхоз даст целого барана, будешь всегда сытым...

— Научите меня! — Борбок-Кара подошел к деду Папая, забыв свой страх. — Я хочу быть волком...

— Ке-ке-ке, ведь я знал, знал, — старик весело заулыбался.

Позже выяснилось, что с годами начал потухать прежний голос охотника Папая, и он, подражая волкам, долго и протяжно выть уже не мог. Воздуха не хватало. И вот поэтому, когда в феврале начался гон, он взял с собой Борбок-Кару — молодой воет, старый и опытный наготове держит ружье.

Уже летом, охотясь за кротами и сусликами в Актеле, мы однажды сильно испугались. Всех бросило в жар, волосы дыбом встали...

Загустели над землей вечерние сумерки. Мы — Метирей, Паша и я — подошли к юрте, где ночевали, и вдруг услышали странный звук. Мы, как по команде, остановились. Что такое?.. Глядя друг на друга, мы стояли ни живые ни мертвые.

Первым догадался Паша:

— Это — волк. Волк воет!

— В юрте! — с ужасом добавил Метирей.

— Наелся мяса наших кротов и... — я не успел дальше ничего сказать, ибо в это время волк завыл еще страшнее.

Мы, обезумев, полезли на дерево, растущее поблизости. Хотя и интуитивно, но поступили верно: если бы побежали, то волк бы нас догнал.

И вдруг из юрты вместо волка с веселым смехом выскочил Борбок-Кара...

Так мы сами убедились, что Борбок-Кара здорово умеет подражать волку. Настоящий волк. От его воя сначала бросит в жар, а потом — в холодный пот.

...Сегодня я спросил у Борбок-Кары:

— В каком месяце волчица приносит волчат?

— Как и собака — через три месяца после гона. В конце апреля.

— А как различить следы волка и волчицы?

— Вот какая по-литинка тебя заинтересовала, а? Эй, мой друг Барыс, — продолжает он тоном учителя и упрекает, — коль ты считаешь себя писателем, надо и это знать. Самец всегда бывает красивее и больше. Взгляни на маралов — что стоят одни их рога! Солнце и луна на них сияют. Возьми птиц. Например, глухарей. Глухарь — в черном бархате, крылья широкие, на крыльях утром сверкает солнце! А самки их — тусклого цвета, серые и небольшие...

Ведь я у него спросил лишь о том, как отличить сле-

ды волка и волчицы. А он затеял целую лекцию о других зверях и птицах. Такова у него манера — сразу не ответит.

— А петухов возьми, — развивает Борбок-Қара свою мысль, — какие у них гребни, а вид каков, а поступь?! А курочку, такую важную и красивую, ты видал когда-нибудь?

— Но ведь следы волков не говорят о их красоте?

— Как не говорят?! Кто тебе сказал? — возмутился мой друг. — Ты внимательно посмотри свежим утром, особенно после небольшого снега: где ступал волк — следы тяжеловатые, большие, кругообразные. А у волчицы — какие-то шупленькие, легонькие...

В то далекое время в наших местах много развелось волков. В апреле почти все люди выходили на охоту. По утрам, после снега, искали следы самок, чтобы найти логово, где они ощенились.

— Не только человек нежно и ласково относится к своим детенышам, — рассказывает Борбок-Қара. — Ощенившаяся волчица теряет покой в поисках еды для своих волчат. Промышлять уходит с раннего утра. Чуть свет — и охотнику надо быть на ногах. — Борбок-Қара рассказывает о волчьих повадках спокойно, обстоятельно. Но вдруг, как это часто с ним бывает, он меняет ход беседы, становится резким: — Нет, хуже и злее человека не бывает на земле никого. Ведь и у волка есть сердце, — неожиданно озлился он, — ведь и у волчицы есть боль, и жизнь есть и смерти!.. А люди — сами что хищники!.. Помогая деду Папаю, я много раз был волком. Весною мы выслеживали волчиц, безжалостно разоряли логова, убивая волчат. Не оттого ли сейчас я все чаще стал болеть и мучиться? Может, это проклятья волков?..

Мы молчим. Каждый из нас задумался, видать, о своем. Трагедия волка и человека... Есть между ними какая-то связь и в то же время бездонная пропасть. Может быть, во всем этом отразились беды и тревоги времени?..

— А помнишь, Барыс, какая интересная политика случилась у меня с дедом Папаям? — первым нарушил молчание Борбок-Қара.

— В то время много было «политики» в Қайру, — отвечаю ему, — какую из них ты имеешь в виду — откуда мне знать.

— А припомни-ка мою охоту с дедом Папаям и деда Ярына...

Мотор машины моих воспоминаний снова зарокотал.

...Где-то далеко смутно начало белеть лицо февральского утра. На восточной стороне лесистой горы завыл волк. Услышав его, дед Папай медленно приложил ладони ко рту и, подражая волку, завыл в ответ.

— Пока волк находится далеко, не поймет подделки, — объяснил охотник своему молодому помощнику. — Попробуй выть, подражая мне.

Борбок-Кара вдохнул холодный февральский воздух, взвыл и нерешительно посмотрел на Папая.

— Ничего, ке-ке-ке, Борбок-Кара. — Папай одобрительно, чтобы сильно не шуметь, тихонько засмеялся. — Научишься и привыкнешь, Борбок-Кара, давай еще раз... Вот так. Еще, еще чуть-чуть затягивай голос, а под конец снизь до хрипоты...

Потом, показывая, завыл волком сам Папай. Вслед за ним опять Борбок-Кара. Они были поочередно. Тихо, без лишнего шума двигались вперед, прячась то за дерево, то за куст, часто прислушиваясь: не послышится ли хруст мерзлого снега. Иногда кто-то из них осторожно поднимался на пенек или на кучу валежника, чтобы посмотреть, не показался ли волк. Нет, волк пока далеко. Он воем отозвался откуда-то издали. Борбок-Кара ответил ему. Прислушались. Бегут минуты. Волк завыл гораздо ближе. Папай остановил Борбок-Кара, а сам, закрыв рукавом своей большой и мохнатой шубы рот и нос, как-то глухо и таинственно завыл.

— Посмотри, как надо, — шепотом учит он Борбок-Кара. — Прикрываешь рот — и волку трудно узнать человеческий голос.

Чувствуется, что волк где-то совсем рядом. Теперь надо смотреть в оба: серый выскочит скоро и неожиданно.

Папай замер. Наготове держит ружье, следит и ожидает. Но признаков какого-либо движения нет.

Горы в тишине. Вокруг лишь снега да леса. За все время, пока поджидали волка, ни Папай ни Борбок-Кара даже не взглянули на небо. Оказывается, уже настало утро. Но до первых лучей солнца еще есть время. Тишина. Легкий ветерок гуляет по снегу. Время идет, терпения у кого больше?

Вдруг совсем рядом коротко взвизгнул волк. Не может, наверное, больше ждать. Папай погрозил пальцем Борбок-Каре, чтобы тот стоял тихо, не скрипел снегом.

И опять в лесу тишина. Чувствуется холод утреннего ветерка. Небо, постепенно освобождаясь от сумерек, ста-

новится все больше. Любой шорох и шум в такое утро удивительно хорошо слышится. Вдруг охотники услышали, что где-то совсем рядом сломался с громким треском сучок под чьей-то ногой. Вот шебаршит зимний снег, вот чье-то тяжелое дыхание...

Охотники переглянулись и взяли ружья на изготовку.

Вот тебе сюрприз! Борбок-Кара отчетливо увидел впереди себя, шагах в пятнадцати, человека в большой алтайской шубе. Он медленно и осторожно взбирался на лежащий под снегом огромный валежник, ружье наготове держит и так же, как Папай, рукав шубы поднес ко рту, запрокинул лицо к небу и завыл по-волчьи.

— Ке-ке-ке, — вдруг глухо засмеялся дед Папай. — Ке-ке-ке, это ты, Ярын?! Тфук!.. Вот встреча так встреча!

— Ба!.. А это, оказывается, ты Папай?! Хи-хи-хи...

Так вот в горах встретились два охотника и смеялись чуть не до обморока.

- Откуда ты пришел, Ярын?
- Спустился с гор Кайру.
- Что ты в пути нашел, Ярын?
- Нашел я хлеб, Папай.
- А где тот хлеб теперь, Ярын?
- Его съел волк, Папай...
- А где твой волк, скажи, Ярын?
- Он спрятался в кустах.
- Остались где кусты, Ярын?
- Пожар их съел, Папай.
- А где пожар, мой друг Ярын?
- Под снегом он, Папай.
- А где тот снег, скажи, Ярын?
- Под лыжами, Папай...
- А лыжи где, мой друг Ярын?
- Охотник их надел.
- А где охотник тот, Ярын?
- Он волком тебе вы!

Примерно такой шутливый диалог вели два знаменитых охотника. Наконец они обратили внимание на стоящего рядом Борбок-Кара.

— Знай, наш ученик, что только хорошие охотники, так могут встретиться, — сказали они ему.

— Ты, Ярын, услышав мой голос, действительно подумал, что это настоящий волк?

— А ты тоже так думал, да, Папай?

— Да, Ярын, ты умеешь выть, как настоящий волк!

— И ты, Папай, точно умеешь подражать этому жадюге! А ты вот, Борбок-Кара, если хочешь быть настоящим

охотником, то научись выть, как мы с Папаем, — сказал дед Ярын.

— Он уже научился, — похвалил Папай своего ученика. — Может быть, Ярын мне не верит? А ну, покажи-ка, как умеешь выть...

— Интересная была по-литика, — подытожил наше воспоминание Борбок-Кара, и хотите — верьте, хотите — не верьте, но я сам не ожидал того, что случилось в следующую минуту: Борбок-Кара, видно, забыл, что сидит в больничной палате, чуть прикрыв рот ладонями, запрокинул бородатое лицо к потолку и начал выть: — А-а-у-у-у... Ах-х-х-у-у-у... Ах-н-х-у-у...

Бог ты мой! Смотрю — возле дверей палаты уже толпятся больные, к палате спешат врачи, медсестры. На лицах людей ужас! А мой Борбок-Кара, не обращая на них внимания, так же запрокинув лицо к потолку, воет:

— А-а-а-у-у-у... Ах-н-у-у...

Кто слышал этот страшный вой, конечно, думали, что он сошел с ума. Ведь с больным, раз уж он находится на лечении, что угодно может случиться. Но нет, все было в порядке. Просто он сидел и рассказывал об охотниках. Вспоминая прошлое, развеселился и решил продемонстрировать свое мастерство. Но объяснить и доказать это всем оказалось нелегко. Хорошо, что в больнице был хоть один человек, который знал нас и нам верил. Если бы не Ольга Петровна, моего друга могли перевести в психиатрическое отделение.

Еще раз спасибо, Ольга Петровна — «Солома волос, ресниц синева»! И от имени моего друга и вождя нашего детства говорю: «Спасибо, Алтын-Чач — Золотой Волос!»

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ —

о том, как молния любви  
поразила сердце Борбок-Кары,  
и о первых послевоенных днях  
на нашем летнем стойбище

С быстротою птицы летели над нами времена года. Лето — зима, зима — лето... Мы выросли. Незаметно пришла к нам любовь. Большая и мучительная беда, прежде всего свалилась на Борбок-Кару. Он был старше нас, и взглянул на высокое солнце до нашего рождения.

А раз так, то и красота девушек и молодых женщин открылась его холодновато-черным глазам гораздо раньше, чем нам. От этого глаза Борбок-Кары потеплели, смутная тень неизведанной любви изменила их.

Наверное, все живое на земле начинается с любви, этого великого и очень болезненного чувства. Чье сердце помнит любовь, тот навсегда лишится покоя. Такое сердце не будет знать, что значит лень. Любовь все подчиняет своей воле. Ничего она не боится. Лучших друзей и близких родственников она может сделать врагами, а вчерашних врагов примирить. От воли любви зависит многое на этом свете.

Тут стоит еще раз вспомнить того самого табунщика, который белым чумбуром бил Борбок-Кару по голове и голой спине. Ведь впоследствии любовь сделала родственниками Яру и Борбок-Кару. Как это произошло, пока не буду говорить. Лишь намекну: это связано с Аткаром — братом нашего предводителя. А в первой любви Аткара и самого Борбок-Кары, мне думается, есть тайна судьбы. Нет, не буду опережать время. Сначала расскажу о первой любви Борбок-Кары.

В один из погожих летних дней наш вождь и друг удивил нас всех — Пашу, Метирея, меня и своего братишку Аткара. Аткар до недавнего времени был прикован к постели и потому с нами вместе никуда не ходил. Теперь же он поднялся на ноги и стал всюду бегать за своим старшим братом.

Борбок-Кара привел нас всех... к Бай-Тыту — Священному дереву, которое красуется чуть ниже нашей летней стоянки. Оно отличается от всех деревьев вокруг него. Другие лиственницы — обычные, с редкими сучьями, зелеными иглами. Священное дерево не такое. Бай-Тыт — это ветвистое и большое дерево. Оно похоже на темно-голубой кедр, с кучковатыми и густыми ветками. И стоит оно на видном месте, на темени небольшого и чистого холмика. Другие лиственницы, будто боясь Бай-Тыта, стоят чуть поодаль. Стоят вокруг как часовые. Может быть — иногда приходит мне на ум, — у природы тоже есть свой тайный язык и закон чинопочитания...

Бай-Тыт — Священное дерево... Понимаете ли вы, в какое место нас привел Борбок-Кара? Ведь это, как считают алтайцы, святое место. Не знаю, специально ли это сделал наш предводитель, а может, его привел сюда рок самой судьбы?..

Любовь — сладкая и горькая боль. Жить с ней одному очень трудно. Перед другими открыть высокую боль этого чувства еще тяжелее...

У Бай-Тыта Борбок-Кара задал нам удивительный вопрос:

— Как вы думаете, если с сегодняшнего дня назову я себя не Борбок-Карой, а Максымом?

— Максым?! Это что за слово? — спросили мы.

— Разве вы забыли того солдата, который возвращался с фронта домой, в Оймонский край, и ночевал на нашей стоянке? Помните, какие у него были сапоги? Красные и до блеска начищенные. — Борбок-Кара с какой-то надеждой и ожиданием смотрел на каждого из нас. Мы не знали, что ему ответить, а он объяснил: — Того солдата звали Максымом. Ох, как красиво плясал он, солдат из Оймона...

— Максым — это имя оймонского человека, — вступил в разговор Аткаыр. — Такого имени в наших местах нет.

— Ох, — тяжело выдохнул Борбок-Кара и посмотрел на нас опять вопросительно. — Ох, братцы, если вы не понимаете, то открою вам свою великую тайну...

...Солдат, возвращавшихся с фронта, мы увидели недавно и только стали к ним привыкать. На гимнастерках солдат сверкали ордена и медали. Кончилась великая и кровавая война, которая много лет шла где-то далеко от нас, там, куда уходит солнце. Люди стали больше петь, смеяться, рассказывать веселое, смешное, даже араку, которую до этого почти не употребляли, стали пить чаще. Действительно, мир вокруг нас с каждым днем становился светлее, шире и вольнее, а лица людей — улыбчивее и добрее. Люди будто стали выше ростом, быстрее и легче стали ходить и двигаться. Мы, дети, открывали для себя мир. Раньше мы думали, что все люди на земле разговаривают только на одном алтайском да изредка на русском языках, поскольку нигде, кроме как на летнем и зимнем стойбищах, не были, заезжали чужие к нам редко. Мы и знать не знали о существовании различных народов, языков, религий. Слышали лишь, что где-то есть немцы-фашисты, которые убивают наших отцов и братьев. Теперь же ~~в~~шли через тайгу к себе домой фронтовики...

...Итак, такое собрание у Священного дерева — нашей Мекки... Конечно, тогда никто из нас и не подозревал, что на свете существует страна, называемая Саудовской Аравией, и там находится город Мекка — священный город мусульман и место их паломничества. Нет, тогда мы этого не знали... У нас было свое Священное дерево.

— Максым, — тихо сказал Борбок-Кара, — это... это красиво. — Мы молчали. — Красиво звучит — Максым... — Он опять выжидательно посмотрел на нас. Мы не понимали, почему он хочет стать Максимом. — Когда он плясал здесь, то у Чомый, которая пришла к нам с верхней стоянки, глаза сверкали, таяли, как две льдинки под горячим солнцем...

— Какая Чомый? — вдруг вырвалось у меня. — Пасет телят на верхней ферме, да?

— Другой Чомый быть не может! — рассердился Борбок-Кара. — Раз навсегда запомни, на всей земле нет никакой другой Чомый! Только она — дочь чернобородого Карамая, которая пасет телят на верхней стоянке, — глаза Борбок-Кара тоже сверкали, как льдинки на солнце.

Летом в Актеле находились всегда два гурта колхозных коров. Поэтому и стоянок было две. На нижней старшей дояркой была моя мама, на верхней стоянке, где жила и пасла телят Чомый, старшей дояркой работала очень высокая и похожая на мужчину Шурбала — старшая сестра Чомый.

— У этой Чомый еще сестра есть младшая, Чергий, — вспомнил Паша, но наш предводитель и слышать не хотел никаких новых имен.

— Я вам говорю не о какой-то там Чергий, а о красавице Чомый, — почти прошептал Борбок-Кара. — Кто-нибудь из вас заметил, какие у нее глаза?.. Чистые, как смородинки, обмытые дождем. Ни у кого таких глаз нет! О мои смородинки!.. — шепотом простонал Борбок-Кара, прикрыв глаза и словно забыв о нас.

— Нет, имя Максым тебе не подходит! — вдруг сказал Метирей. — Я не согласен.

— Имя Максым на тебя не похоже, — поддержал Метирей Аткаыр. — Если хочешь быть моим братом, то оставайся Борбок-Карой. Ты похож на Борбок-Кару, больше ни на кого... Все мы к тебе и твоему красивому имени привыкли.

— И правда, что это такое — Максым?! — поддержал я

своих друзей. — Нет, оставайся собой. Борбок-Кара лучше звучит...

И вдруг Аткыр сказал:

— Нет, ребята, Чергий намного красивее! Чергий... звучит-то как, а?!

Но наш предводитель жестко прервал своего братишку:

— Я вам еще раз повторяю, мои мысли заняты Чомый. — Неожиданно он указательным пальцем правой руки ткнул напротив сердца и, едва не плача, заорал: — Вот тут!.. Тут горит, понятно вам всем? Э-х, куда вам понять!

— Борбок-Кара, в таком случае... — раскрыл было я рот, но он сердито прервал:

— Запомни, теперь я вам не Борбок-Кара, а Максим!

— Раз ты решил быть Максимом, то где возьмешь такие же красные сапоги, как у оймонского солдата? — заинтересовался Метирей.

— Красные сапоги?! — явно замешкался Борбок-Кара, глядя на свои голые ноги. Он нерешительно поднял глаза на Метирея. — Говоришь, красные сапоги... — он долго стоял и задумчиво смотрел на свои обмытые росами трав голые ступни. Через какое-то время лицо его просияло. — Откуда возьмутся красные сапоги?.. — Он с хитрецей посмотрел на нас. — Скоро я снова поеду в страну Ело, сдам шкурки сусликов и кротов... По-литика!

— Какая политика? Объясни, — сказал Аткыр. — А то наябедничаю матери, будешь знать...

— Матери?! Тогда я задушу тебя, горбун! — погрозил Борбок-Кара братишке.

Если бы кто-нибудь из нас назвал Аткыра горбуном, досталось бы тому от Борбок-Кары. Защищая своего братишку, он сам мог любого сделать горбуном.

— Что ты сделаешь в Ело? — вернул Паша Борбок-Кару к прерванной мысли.

— Продам шкурки госторгу, получу деньги и куплю себе красные сапоги, — удивил нас своей находчивостью наш предводитель. — А если в еловской лавке не будет красных сапог, поеду еще дальше. Знаете, какая лежит за Ело страна?

— Какая?

— За страной Ело не знаете, какая страна?

Борбок-Кара решил похвастаться, что знает много стран. А страной мы тогда представляли себе любое село или колхоз, которые находились в каких-нибудь десяти километрах от нашего Кайру.

— По-литика, секрет! — Борбок-Кара хитро подмигнул. — Дальше дорога приведет меня в страну Кенгу! Там можно найти все что угодно. В Кенгу я могу купить не только красные сапоги, но и красную рубашку. Вот увидите...

Мы стояли разинув рты, пораженные словами Борбок-Кары. Конечно, у нашего предводителя шкурок больше всех, и мы верили, что он сделает, как сказал. Но... Красные сапоги и еще красная рубашка — одному человеку?! Наше воображение не могло представить такое богатство...

— Вот тогда ты станешь настоящим Максымом, — первым согласился Паша.

— А там, в стране Кенгу, о которой ты говоришь, разве идет война? — поинтересовался я, предполагая, что красивую новую одежду можно приобрести только там, где идет война. Ведь солдаты, возвращавшиеся с войны, были очень красиво одеты: у каждого из них сапоги, галифе, высокая фуражка, еще гимнастерка с орденами и медалями...

Когда мы задали Борбок-Каре вопрос о красных сапогах, он будто оказался на лесной тропинке, по которой ни разу не ходил. А теперь, когда ответил, он словно вышел на просторную и ясную дорогу.

Не удостоив меня ответом, наш предводитель объявил:

— Один важный вопрос решил. Остается еще одна тайна.

Мы ждем. Замерли.

— Во-первых, вы никому не должны говорить о нашем разговоре, — приказал он. — По-литика, секрет! Дайте мне клятву, что все будет шито-крыто...

— Клянемся!

— Во-вторых, — Борбок-Кара пальцем указал на Пашу, — сегодня ты пойдешь со мной на верхнюю ферму. Не доходя до юрты, я останусь. А ты найдешь Чомый и скажешь ей так: тебя ждет Максым. Скажешь: пойдем вместе. Но только никто ничего не должен заметить. Особенно об этом не должна знать Шурбала. Ясно?..

— Может быть, ее позвать через Чергий? — подал новую идею Метирей.

— Нет, нельзя, — сказал наш вождь. — Вдруг Чергий шепнет Шурбале?.. Нет, не подходит.

— Но ты ведь еще не Максым? — не соглашался Атыр.

— Никаких разговоров, теперь я — Максым! — приказным тоном сказал Борбок-Кара. — Оторву, однако, тебе уши... — пригрозил он.

Как Паша первый раз уговорил и привел Чомый к Борбок-Каре, никто не знает. Но потом мы много раз сами были свидетелями, как встречались Борбок-Кара и Чомый.

Мы часто провожали нашего друга на верхнюю ферму. Бывало и так: Чомый выходила пораньше и ждала своего возлюбленного пониже юрты доярок, среди густых зарослей. Не догадываясь, что она тут, мы не раз проходили мимо. Чомый выскочит из-за дерева и позовет тихонько:

— Эй, Максим, я тут!

Ее тень на миг мелькнет под ясной луной и тут же скроется за деревом.

Борбок-Кара, услышав любимый голос, взволнованно приказывал нам:

— Не шуршите тут, как мыши, сухой травой, а лучше — уходите!

Нам неохота было уходить. Но Борбок-Кара неумолим: — Кому сказал?! Уходите!

Что поделаешь — командир есть командир. Мы нехотя поворачивали домой, на нижнюю стоянку. Но однажды Паша, самый сообразительный среди нас, сказал:

— А давайте подкрадемся к ним и посмотрим, что они там делают, а?

Мы, как ночные воры, тихо подползли к валежнику, на котором сидели наши влюбленные, и стали вслушиваться.

— Ты самый красивый мой теленочек!.. — разобрали мы жаркий шепот Борбок-Кары. — Самое чистое и белое молоко мое...

«О каком теленке они говорят?» — уставился на меня Метирей.

— Может, Чомый ему молоко приносит? — еле слышно спросил я друзей, сам ничего не поняв в подслушанном разговоре.

— Молчи, бестолочь! — шикнул на меня Паша. — Это любовные слова!

Мы опять прислушались.

— Ты мое сладкое зернышко в самом большом кедровом орешке...

Мы переглянулись и прыснули.

Влюбленные вскочили, как ужаленные.

— Убегайте немедленно! — зашипел наш командир. — Я вам завтра покажу!

Мы бросились, спотыкаясь в темноте, в сторону дома. Но любопытство так нас разбирало, страсть как интерес-

но было послушать еще — мы, пошептавшись, решили вернуться.

И вот шепот Борбок-Кары вновь обжег краешки наших ушей:

— Знаешь, Чомый, я скоро приду к тебе в красной рубашке!

— А где ты ее возьмешь?

— Если хочешь, я и тебе принесу красную рубашку. Я знаю, где купить...

Нет, какими мы тогда глупыми были! Выскочив из-за кустов, гордясь, что знаем такую большую тайну, мы в три голоса выпалили:

— Борбок-Кара привезет эти вещи из страны Кенгу, Чомый!

Пока наш предводитель искал, чем бы запустить в нас, нас и след простыл...

...Как порою близко соседствуют горе и радость! Еще недавно в нашем Кайру не было человека несчастней тетушки Тудар — матери повесившегося Текемея, а сразу после войны выпало ей счастье, какое не узнала ни одна из наших матерей.

Кроме Текемея, были у тетушки Тудар еще два сына. Они, как и отец их, давно ушли на войну. Тетушка Тудар была старше всех в стойбище. Наши матери помогали ей, жалели ее, несмотря на то что она жестоко относилась к сыну Текемею. А мы, дети, не могли этого понять: мы не знали, почему тетушка Тудар была так сурова с сыном.

Она была похожа на всех тутошних доярок, только слабее. Правая рука ее плохо двигалась, поэтому ей старались не давать тяжелую работу: сено она не косила, возить молоко ее не заставляли. В зимнее время мать запрещала ей ездить за сеном.

— Пусть тетушка Тудар останется дома, присматривает за нашими детьми, — не один раз говорила моя мать.

— Спасибо, за детьми следит, — соглашались доярки.

А Тудар, оставшись с нами, в зимние дни любила сидеть у единственного окна нашей старой избушки. Она целыми днями занималась шитьем и ремонтом: ставила заплатки на наши старые, порванные шубейки, чинила обутки доярок, своих подруг.

Сидя у подслеповатого окна, она иногда тянула тоскливую мелодию:

Звонким голосом птица кукушка  
Споет ли опять будущим летом?  
На войне оставшись живыми,  
Вернутся ли летом мои сыновья?

Потом, тихо шмыгая носом, она горько плакала. А мы, не до конца понимая причины ее слез, очень ее жалели и старались сделать ей что-то приятное:

— Тетушка Тудар, может, пойти пособирать щепки?

— Давайте затопим печь, пусть будет тепло, тетушка Тудар?

Она переставала плакать и говорила ласково:

— Разожгите, дети, печь, а я заварю вам чай.

Пока мы носили дрова, она сидела на том же месте у окна, задумчивая, и плакала уже молча. Увидев, что дров достаточно, она, украдкой вытерев лицо рукавом старой шубы, тяжело поднималась, чтобы поставить чай.

— Тетушка Тудар, когда с нами, всегда плачет, — много раз я сообщал своей матери.

— Пусть поплачет, — говорила мать, — вы ей не мешайте...

Только позже, когда подрос, я узнал, что на фронте погибли муж и старший сын тетушки Тудар. О похоронках нам тогда никто не объявлял. А от среднего сына Токтона тетушка Тудар до самого конца войны не получала никаких вестей. И потому оплакивала его тоже.

Но однажды... в один из самых прекрасных дней середины лета в Актел вернулся Токтон. Я никогда не забуду его встречу с тетушкой Тудар.

Увидев сына, мать рванулась к нему, но тут же остановилась, впившись глазами в его пустой рукав:

— Что случилось, сынок? — крикнула она. — Ты жив?! — медленно подошла к сыну, упала ему на грудь.

Остальные женщины от неожиданности тоже растерялись, стояли молча, смотрели на тетушку Тудар и Токтона.

В следующее мгновение мать отстранилась от сына, снова посмотрела ему в лицо, перевела взгляд на пустой рукав и опять, горько вскрикнув, упала лицом на грудь Токтона.

— Ты, оказывается, жив? — почему-то стала она упрекать сына. — Почему ты не писал, что живой, почему? Если бы я знала, что ты живой... — И тут она произнесла непостижимые для нашего ума слова: — Текемей сейчас тоже был бы жив! Ой, ой, дорогой мой сынок, балам, Текемей, Текемей, что я натворила, что я наделала!..

Невозможно было понять: почему, обвиняя себя в смерти Текемея, тетушка Тудар обвиняет и Токтона? И почему его, Текемея, жизнь зависела от жизни Токтона?

— О великий кудай-бог и люди добрые, — причитала мать, снова уткнувшись в гимнастерку солдата, — посмотрите на сына моего, разве я родила такого?.. Где, мой сын, твоя рука?! — Она подняла с груди сына свою седую голову. — Проклятые бесхвостые волки живьем съели твою руку!..

Я хорошо помню, что Токтон тогда не проронил ни слова. Он словно действительно был виноват перед матерью...

Только повзрослев, я узнал, что алтайцы в годы несчастий и бедствий стараются спасти своих детей... своего рода наказанием. Так, новорожденному в такое время дают плохое имя, чтобы подземный злой бог Эрлик не унес его к себе. Осталась верна этому древнему обычаю и тетушка Тудар. Она сказала своим подругам:

— Я очень любила своих старших детей и была с ними чрезмерно ласкова. Потому, видать, они погибли в стране немецкого хана. Пусть хоть мой последний сын, Текемей, останется живым. Я буду теперь к нему жестокой.

Наши матери не осудили ее за такое решение, а лишь тихо шептались между собой, жалея старую мать...

...Токтон стоял перед матерью, склонив голову. Фуражку свою он держал под мышкой единственной левой рукой. Пустой рукав гимнастерки был засунут под ремень. Черные волосы Токтона красиво блестели под лучами летнего солнца. За спиной его висел солдатский вещевой мешок. Сапоги были обыкновенными, а не красными, как у оймонского солдата. А галифе такие же зеленые. Зато медалей и орденов на его груди было больше, чем у Максыма. Так и должно быть. Ведь солдат-то не оймонский, а из нашего Кайру!.. Награды и пуговицы ослепительно сверкали на солнце, радуя нас, детей.

...— Отца и старшего брата эти кровавые собаки съели... — плакала мать перед сыном. Она вынула откуда-то из-за пазухи пожелтевшие, со следами слез листки. — Вот черная бумага про их смерть... — Она подала листки сыну, тот, не разворачивая и не читая, положил их в карман галифе. — Дали бы мне железные вилы, этим фашистам распорола бы животы!.. Хорошо хоть ты живой, сынок, — начала немного приходить в себя тетушка Тудар. — Ну, проходи, проходи, балам-сынок, в юрту...

Как бы ни была жизнь трудна и печальна, но и у радости есть свои права. Когда возвратился Токтон, над нашим летним стойбищем в Актеле вновь взмыла, полетела, затрепетала алтайская песня — жив солдат! На стоянке в Актеле были три островерхих юрты. Наши матери жили в разных юртах. А в тот день все они собрались в одну большую юрту и пели до утра, плача вместе с тетушкой Тудар и радуясь вместе с ней.

Травы, которые мы косим, роняют слезистые росы.  
Жизнь в живых оставшихся пусть будет бесслезной,  
Собранное нами сено пусть будет зеленым,  
А наша дальнейшая жизнь пусть будет счастливой.

Конечно, кто-то горько плакал, вспоминая своего мужа или брата, погибших на войне. А кто-то пел и радовался, что настало спокойное время.

Те песни, посвященные погибшим в кровавой стране Война, до сих пор во мне не остыли, они приплывают через годы и расстояния, отдаются пронзительной болью.

Если б не выпадали большие снега,  
Не отцветали б цветы и травы,  
Если б не приходили на землю войны,  
Разве б молодые братья умирали?..

Когда чуть закружились головы наших матерей от теплой алтайской араки, развязались их языки. Стали вспоминать и рассказывать каждая свою беду и потерю.

Токтон, будто не слыша ничего, сидел молча, думал о чем-то своем. На его губах изредка появлялась и тут же исчезала тень улыбки. Интересно, о чем он думал, этот всегда молчаливый, немногословный человек, живым оставшийся на войне?..

По нашему обычаю араку пили в то время из одной, специально для такого случая, пиалы-туурам. Ее передавали из рук в руки по ходу солнца, с востока на запад. Когда очередная пиала с горьким напитком приходила к кому-то из участников застолья, он, чуть пригубив, мог, по своему желанию, преподнести ее любому уважаемому человеку. Особенно в почете бывал гость. Каждый старался ему подать пиалу-туурам. Но и гость в долгу не оставался: оказывал уважение присутствующим, особенно пожилым людям и хозяевам дома.

Сегодняшним гостем был Токтон. Туурам то и дело оказывалась в его руках. Ему желали здоровья, счастья и других благ. Он — солдат, защитник родной земли. Остался жив и первым вернулся домой!

— Выпей, Токтон, это твой родной напиток...

— Выпей, Токтон, ведь он из чистого молока...

Он молча пил. Пил много, но не пьянел. Задумчиво смотрел на огонь очага. Видимо, вновь шагал по дорогам своих длинных и неизвестных нам воспоминаний.

Почему он не смотрел на людей, родных и знакомых с детства?.. Сегодня мне думается, ему было трудно и мучительно видеть, что сделали с лицами этих многострадальных женщин-матерей муки и беды...

И снова лились мелодии алтайских песен. Кружилась вокруг очага та же алтайская пнала-туурам.

На вершине снежной горы  
Пусть растет золотой цветок.  
Золотой наш Алтай  
Пусть свет луны освещает.

Среди множества голосов выделялись два: голос Кыйгас, которая чем-то напоминает мне красавицу врача Ольгу Петровну, и пронзительный и мелодичный голос тетушки Кажакай:

На снегах синеющих вершин  
Пусть растут жемчужные цветы.  
Каждый день родной Алтай  
Пусть обходит золотое солнце...

Когда Токтон и на огонь устал смотреть, прикрыл глаза. Кто-то попросил его:

— Хоть что-нибудь расскажи нам, Токтон?

— Как ты жил там и воевал, расскажи, нам охота послушать.

Токтон тяжело вздохнул, поднял голову и будто только сейчас заметил окружавших его людей.

— Что рассказать?! Я солдат. От Сталинграда до Польши копал окопы. Вот и все...

— А медали и ордена дали за то, что много копал землю, что ли?

Токтон небрежно махнул единственной рукой:

— Остальное время валялся в госпиталях.

— Встречал ли ты на войне алтайцев, Токтон?

— Нет, встречаюсь вот сегодня, с вами...

Пути людских судеб никогда не бывают прямыми...

Токтон не пел тогда с доярками, не плясал, как Максым, поднимая пыль с земляного пола юрты, не рассказывал небылицы о войне. Нет, он молчал, наш Токтон. А вскоре поползла про него молва, похожая на фантазию.

— Правая нога у Токтона — не своя, — таинственно передавалось из уст в уста. — Это не сказка, а настоящая правда.

— Как не своя? — ахали малoverы.

— Так! Когда страшный снаряд оторвал ему ногу, то на ее место поставили ногу немца! — уверял кто-нибудь малoverного.

Но тот не сдавался:

— Такого не может быть! — решительно заявлял он.

— Но так говорят... На войне, рассказывают, такие бывают врачи, которые умеют оживлять даже мертвых солдат!

И верили. И про Токтона и про врачей. Видимо, люди в каждом из солдат и своих земляков, вернувшихся с большой войны, хотели видеть непоколебимых батыров и героев, убивших злодеев и смерть.

Удивительные люди в Кайру! Они умеют в трудный момент и пошутить и выдумать; умеют трудиться и верить — всегда. Каких только удивительных рассказов о войне не приходилось нам, кайрунским детям, слышать от наших матерей! Промерзшие до костей, голодные и смертельно уставшие, вернутся они с работы зимним вечером в нашу единственную, со слепым оконцем избушку, сядут, безжизненные, у очага, молча возьмут пиалы с чаем — пустым кипятком... и глядишь — уже согрелись, ожили, уже разговаривают друг с другом, прижимают к себе нас, детей, видят, наконец, свой дом, живут вновь надеждой на лучшее...

Так, чаюя, поведали нам наши матери не одну легенду. Помню, я был заморожен рассказом о единоборстве двух богатырских коней. Кто-то видел, высоко в ночном небе, среди холодных звезд, будто бы дрались подобный ночи Черный и подобный солнцу Красный кони. Они, всхрапывая, раздувая ноздри, кидались друг на друга, били друг друга копытами. От их ударов высекались молнии, которые, прочерчивая ночное небо, воззались в снежные хребты далеких гор. В этой смертельной схватке каждый старался сбросить на землю другого. Ноздри коней выбрасывали клубами огромные облака пара. Пена шла изо рта того и другого. А кровь у коней была разная: у Черного — черная, у Красного коня — красная.

— А кто победил? — не терпелось мне узнать главное.

— Верх взял Красный конь. Черный, перевернувшись, стремительно полетел вниз с ночного неба, пробил землю

и навеки ушел в нее. Когда он ударился о землю, даже горы покачнулись...

— Если на самом деле так, — тихо проговорила тогда тетушка Тудар, — то это очень хорошо. — И, по обычаю суеверных алтайских женщин, она стала творить внутреннюю молитву, поглаживая свои косы то правой, то левой рукой.

А я потом не один раз вглядывался в ночное небо, надеясь увидеть там чудесного Красного коня.

Наслушавшись за долгие военные зимы подобных рассказов своих матерей, мы, мальчишки, на Токтона смотрели как на сказочного героя...

А молва о нем шла все дальше:

— Было, говорят, так. Когда наши бойцы взяли в плен того самого немца, который своим большим ружьем оторвал ногу Токтону, его спросили: «Что, фашист, тут же прикончить тебя или ты добровольно отдашь свою ногу нашему верному другу, смелому воину с Горного Алтая, и этим спасешь себя?» Конечно, он, хоть и был немцем, тоже хотел жить. И он ответил: «Не убивайте меня! Лучше возьмите мою ногу для своего друга!» Вот как, а?.. А искусные военные доктора ногу немца ловко поставили Токтону вместо прежней...

— Нет, Токтона хранил, видать, сам великий кудай-бог...

Смешно это и горько сейчас вспоминать. А тогда мы не думали, почему же заодно военные хирурги не подарили Токтону правую руку? Не задумывались мои земляки над тем, потеряла ли бы наша страна двадцать миллионов своих сыновей и дочерей, если бы существовали такие чудотворцы. Очевидно, и из маленького нашего Кайру погибли бы не семьдесят, даже и семь бы человек не погибли, а все бы вернулись домой, будь такие врачи. Но мы об этом не думали тогда. Радуюсь, что наконец-то кончилась проклятая война, мы — верили. И поддерживали фантастические слухи о сыне тетушки Тудар. И мечтали от него услышать рассказ о войне и о его «немецкой» ноге.

И потому однажды мы — я, Паша и Атыр, — выбрав удобный момент, предстали прямо перед Токтоном. Он, как всегда, был в галифе и гимнастике. Но особенно нашу зависть вызывал его широкий ремень.

Токтон взглянул на нас, провел единственной пятерней по красивым, коротко стриженным волосам и широко улыбнулся:

— Что вам?

— Давай спрашивай, — Паша подтолкнул меня вперед. Но Аткаыр опередил, спросив совсем не о ноге:

— Скажите, дядя Токтон, возьмут меня на войну? — он смотрел на Токтона снизу вверх с ожиданием.

Солдат как-то странно и нежно поглядел на стоящего перед ним мальчика-горбуна.

— Сейчас нет войны, — ответил он.

— А просто в армию возьмут его? — включился в разговор и Паша, словно забыв, зачем мы сюда пришли.

— В армию, говоришь? — Токтон, улыбаясь, смотрел то на Пашу, то на Аткаыра. — Говоришь, солдатом... наверное, возьмут... Нет, точно возьмут! — уверенно сказал он.

— А они мне что говорят?.. — Аткаыр бросил на нас упрекающий взгляд. — Когда я стану взрослым, ведь выпрямится моя спина? — Его серые глаза с надеждой смотрели на Токтона. — Тогда у меня будет точно такой же широкий ремень, как у вас, дядя Токтон, да?!

— Правда, дядя Токтон, что у вас одна нога — не ваша, а какого-то немца? — не выдержав больше, вдруг выпалил я.

Токтон громко засмеялся: что, мол, с вами говорить, — махнул единственной рукой и, повернувшись, ушел в юрту.

Я и сейчас не знаю, кто выдумал эту историю о «немецкой» ноге Токтона. В ней выразилась, думается, великая сила духа нашего народа, его многолетняя мечта о победе и — нетленная надежда человека победить смерть.

Однако, вспомнив в связи с первой любовью Борбок-Кары оймонского солдата Максима и кайрунца Токтона, я затянул, кажется, свой рассказ. Но как было не поведать о возвращении с войны первого нашего солдата?! Тем более что Токтон и сейчас живет в Кайру. Он такой же тихий, ласковый. И у него уже внуки...

## **ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ, в которой говорится о некоторых стихах русского поэта Ивана Ерошина и продолжают воспоминания о первой любви Борбок-Кары**

Человеческая душа... Что в этом мире не открыто в ней? Какие чувства новы? Любовь, эта самая глубокая боль и та — старая-старая песня...

Думая о нашем суровом и далеком детстве, рассказывая о первой любви Борбок-Кары, я вдруг усомнился: могу ли кого-нибудь этим заинтересовать? Такая любовь, как у Борбок-Кары, была и до него, и будет после него. И описана много раз. К примеру, в стихах русского поэта Ивана Ерошина. Почему именно о них речь? Потому что они об Алтае.

Возможно, современный читатель не знает об Иване Евдокимовиче Ерошине, русском поэте, жившем в двадцатые — тридцатые годы в Сибири. Своеобразная его поэзия до сих пор не потеряла своей свежести и чистоты.

В 1935 году французский писатель Ромэн Роллан, ознакомившись с книгой Ерошина «Песни Алтая», отправил автору в Сибирь письмо, в котором, в частности, писал:

«...Мы поражены свежестью и силой не только образов этих песен, но чувств, в них выраженных. Я знаю пока только несколько стихотворений — с десятков, из самых коротких — «Я похож на облака», «Череп», о юноше, который хочет посмотреть девиц и у которого нет новой рубашки, и несколько других. Образ пальцев... «как дикие пчелы», голоса, — «как рыжее пламя» — образы природы (кедровая ветка под инеем и т. д.) — замечательны. Это напоминает китайскую и японскую поэзию, и вместе с тем — это могло бы быть создано самыми утонченными поэтами Запада...» Далее великий романист сообщил о своем желании познакомить с этими стихами французских читателей.

Так вот теперь я думаю: может быть, Иван Ерошин обладал даром предчувствия? И не о нашем ли Борбок-Каре, не о его ли первой юношеской любви некоторые стихи поэта? Даже название одного из стихотворений напоминает о мечте нашего друга и предводителя:

#### Новая рубашка

Износилась, посмотрю, рубашка,  
Старую рубашку надо бросить,  
Новую купить рубашку надо.  
Славню новую надеть рубашку!  
Старая юрта покосилась,  
Юрту новую строить надо...  
Жизнь отцов совсем изломалась —  
Жизнь хорошую будем строить!

У жизни одна общая колыбель. Молодой герой стихотворения Ерошина, Тюгень, полюбил красавицу из до-

лины Суу-Тал. Он мечтал о ней и страдал от любви. Страдал и мой друг Борбок-Кара, сердце его тоже было объято огнем любви, любви к Чомый, которая пасла телят на верхней ферме в урочище Актел.

У поэта, жившего и работавшего до моего появления на свет, мы находим еще одно стихотворение о любви Тюргеня:

Девиц посмотреть хочу,  
Девиц сугдаальских гор!  
Как я с ними познакомлюсь?  
Как вступлю я в разговор?  
Сапоги хорошие надену,  
А рубашки новой нет.  
Я скажу: «Зовут меня Тюргенъ,  
Мне семнадцать лет».

Такой муки, какую испытал Борбок-Кара от своей первой любви, наверное, никогда он больше не чувствовал. А ведь в своей жизни он и замерзал, и голодал — многое видел, через многое прошел. Даже тогда, когда дед Папай жестоко крутил его уши, он слезинки не проронил из своих черных глаз. Этот стойкий батыр страдал и проливал слезы из-за любви.

Чомый перестала выходить к Борбок-Каре. Что с ней случилось — трудно было понять. Каждый из нас, жалея Борбок-Кару, ходил как больной. Но другу нашему от этого было ли легче?!

Борбок-Кара вновь отправил на верхнюю стоянку Пашу. Тот, улучив момент, напомнил:

— Максым ждет тебя, Чомый.

Девушка, словно не слыша, прошла мимо, юркнула в юрту своей сестры Шурбалы. Паша ждал, ждал, но она не вышла.

Назавтра к ней явился я:

— Максым ждет тебя.

Чомый опять кинулась к юрте, но я решительно преградил ей дорогу.

Мы стоим лицом к лицу. Она посмотрела на меня со своей высоты, скривив в усмешке уголки рта. А к босым ногам ее прилипли былинки трав, омытые серебром вечерней росы.

На какое-то мгновение я оторопел. Не мог найти нужных слов и вдруг соврал:

— Максым сегодня придет в красной рубашке и в красных сапогах, Чомый. Ты выйдешь к нему? — спрашиваю,

а сам, чуть не плача, уговариваю: — Ты сегодня нашего Максима не узнаешь. Во всем красном он сверкает, переливается, как огонь!

Она же, показав мне язык, неожиданно так сильно меня толкнула, что я упал.

— Скажи своему Борбок-Каре, что я ему не молоко, не сметана и не какой-то белый теленок... Чтоб сюда больше никогда не приходил! Иначе... — не досказав, она скрылась в юрте Шурбалы, лишь мелькнув пятками.

Делать нечего. Я вернулся к друзьям.

— Как? — погасшим голосом спросил Борбок-Кара.

Я скрыл, что Чомый толкнула меня и что я упал. А об остальном рассказал, как было.

— А язык она тебе не показала? — поинтересовался Паша.

— Значит, говорит, чтоб я ей больше не показывался? — уточнил предводитель.

— Д-да...

— А как звала меня — Максимом или Борбок-Карой?

— Борбок-Карой... И еще сказала, что она не хочет быть ни теленком, ни молоком.

— В таком случае вот тебе! — Борбок-Кара влепил мне крепкую пощечину. — Скажи, скажи, что Чомый звала меня Максимом! — закричал он яростно, схватив меня за ухо. — Больше не будешь врать! — Наконец, помучив меня, он отпустил мое ухо, зло приказал Метирею: — Приготовься, завтра пойдешь ты! А теперь уходите! Все!

И мы, тяжело вздохнув, взглянув на своего друга и вождя с великой жалостью, медленно направились домой, оставив его одного в сумерках леса.

Как провел эту ночь Борбок-Кара — никто из нас не знает. А на завтра, когда к Чомый должен был идти Метирей, дело приняло неожиданный поворот.

— Я сам все узнал, — хриплым голосом сказал нам предводитель. — Ты, Метирей, сегодня не пойдешь к Чомый... — И приказал, как накануне Метирею: — Приготовьтесь! Сегодня долго будем ждать Чомый. Оденьтесь все потеплее. Как будем действовать — объясню по пути.

В сумерках мы двинулись на верхнюю стоянку. Не доходя немного, остановились около огромной лиственницы. Тут Борбок-Кара нас совсем ошарашил — выдал каждому заранее приготовленные им и спрятанные под лиственницей дубинки.

— Будьте наготове!

— Зачем это?!

— Большая по-литика!

— Если такими лупить, Чомый умрет!

— Не для нее это! — решительно и зло отрезал Борбок-Кара. — Другая тут по-литика, батыры. С кем будем воевать, потом узнаете.

Что-то очень серьезное ждало нас. Мы подошли поближе к юртам фермы и остановились в густом подлеске. Отсюда до юрты Шурбалы шагов сто. Залегли, уставившись на дверь, замерли... Ждать пришлось недолго, дверь юрты открылась, и...

О куда-бог ты мой! Разве тогда мы — Паша, Метирей и я — понимали, что на пути любви есть такие повороты и узлы?..

Хорошо, что Аткир не пошел с нами. Горько было бы ему смотреть на слезы и муки старшего брата.

Когда на фоне яркого огня, горящего внутри юрты, на какое-то мгновение предстал очень знакомый силуэт, Паша громко прошептал:

— Борбок-Кара, гляди, Чомый!

Но наш вождь, пригрозив Паше кулаком, пригнул его к земле.

— Чомый сегодня решила прийти к тебе, — обрадовался и Метирей.

— Давай крикнем, что Максим ждет здесь? — повернул я голову к нашему предводителю, но сильная рука Борбок-Кары и меня пригнула к земле.

— Тихо! — скомандовал он. — Где колотушки? Приготовьтесь!

Чомый побежала не туда, где всегда встречалась с Борбок-Карой, а в другую сторону, туда, где под большой и яркой луной дремали высокие деревья. Глядим во все глаза, даже не дышим. Что будет дальше? Куда же она?

Внезапно чья-то огромная тень выросла из-за дерева и двинулась навстречу Чомый. Мы сразу узнали, кто это. Батыром, обнявшим Чомый единственной рукой, был, конечно, Токтон.

Когда Токтон обнял Чомый, а она прижалась к его груди, Борбок-Кара не выдержал: застонал, заскрипел зубами, стал царапать землю и бить по ней кулаками, рвать зубами траву. А мы, глупые мальчишки, с величайшим любопытством продолжали следить за теми двоими, будто не видя мук нашего предводителя.

Очень хотелось услышать, что они говорят, но мы были далеко от них. Паша первым стал подползать к Чомый и Токтону. Мы с Метиреем, не оглядываясь на своего предводителя, — за ним. Вскоре я услышал за своей спиной и дыхание Борбок-Кары.

За влюбленными следили не только мы. Желтая, как масло, луна, казалось, тоже замерла, чутко вслушиваясь в каждое слово влюбленных. Притихли и деревья и горы.

Токтон говорил не так, как наш вождь, у него таких слов не было.

— Чомый, ты такая красивая... Человек не может быть таким! — говорил всегда молчаливый Токтон.

— Но я же человек! — Чомый, улыбаясь, смотрела на солдата снизу вверх.

— Ты, наверное, дочь этой луны, — Токтон и Чомый, запрокинув головы, крепче прижались друг к другу и какое-то время молча смотрели на луну и крупные ночные звезды.

— Нет, Чомый, ты больше похожа на солнце, от тебя веет его теплом... — опять смотрел Токтон на Чомый.

— Как это, от солнца — веет? — тихо спросил меня Метирей.

Я пожал плечами.

— Я так долго не был дома, Чомый, а ты — как весь наш Алтай: от тебя пахнет его травами, снегами вершин...

Борбок-Кара не выдержал:

— Ы-ых! — тяжело застонал он. — Ы-ых!.. Сердце бы вырвал!..

— Чье? — мы втроем придвинулись к предводителю.

— Где колотушки, берите! — приказал Борбок-Кара. — Будем бить обоих!

Мы, всегда готовые горой стоять за своего командира, замаялись, что-то нам мешало послушаться его.

— Ну! — резко и требовательно подгонял он. — Я встану, а вы — за мной...

— Борбок-Кара, а если у него наган? — как всегда проявил сообразительность Паша.

— Наган? Какой наган?!

Мы растерялись, если не сказать — испугались.

— Токтон нас всех перестреляет, а что будет с нашими матерями? — высказал Паша за всех беспокоившую нас мысль.

И вдруг Токтон как рывкнет:

— А ну, марш! Я вам дам подслушивать!..

Наши сердца словно в пятки прыгнули, от испуга перехватило дыхание. Первым подскочил Метирей, за ним — Паша и я, последним бежал Борбок-Кара. Так и ждали мы за спинами выстрела.

Немного отбежав, наш предводитель остановился. Мы тоже. Борбок-Кара тяжело дышал, то и дело оглядывался на Токтона и Чомый. Вдруг он упал, как подкошенный, и запричитал:

— Что я наделал? Что, что, что?.. Дурак я, дурак! — Он долго катался по земле, скрипел зубами и все причитал: — Дурак я, дурак! Ведь я знал, что Чомый — дочь солнца! Почему я не говорил ей так?!

Мы очень жалели Борбок-Кару. Впервые мы каким-то далеким и новым ощущением поняли, что слова и жар любви бывают, оказывается, разными...

...А осенью наши родные горы и уже дышащее холодом небо опять отдались звону алтайских песен. Пели их наши матери-доярки и гости, прибывшие на первую послевоенную свадьбу. Стойбище Актел запомнилось оседланными конями и празднично одетыми людьми. Всем хотелось посмотреть на свадьбу солдата, поздравить жениха и невесту, чем-нибудь помочь молодым.

Чомый было трудно узнать. Она вся светилась счастьем! В свадебном наряде, в алтайской шапочке из лисьих лап и в кожаных сапожках алтайского покроя невеста была неотразима.

Токтону и Чомый пели песни-пожелания, песни-посвящения. Эхо тех свадебных мелодий и теперь, кажется, отдается в моих ушах:

Из всех красивых долин —  
Самая красивая наша долина,  
Из всех красивых невест  
Лучшая — Токтона невеста.

Борбок-Кары в дни свадьбы в Актеле не было. Чужая радость была для него горька, и он уехал, может быть, в страну Ело или еще дальше, в Кенгу, сдавать шкурки сусликов и кротов.

А песни не кончались, их пели до молочно-белого утра:

Пусть у шестигранной коновязи нашей  
Всегда стоит иноходец-аргамак.  
А в юрте большой, шестигранной  
Пусть веселится народ на свадьбе.

Алтайцы говорят так: нет одинаковых облаков на бескрайнем небе, нет в огромном мире и людей, похожих

друг на друга. Но похожие судьбы, мне думается, встречаются.

Я потому решил написать о первой любви своего друга, что был уверен: это ново и интересно. А перечитал стихи Ерошина, узнал о трагедии его героя, его любовных муках и понял — трагедия первой любви Борбок-Кары не нова. Может быть, русский поэт и вот эти стихи написал о моем друге?

Что за птицы там летят?  
Это — пара серых уток.  
Вслед смотрю, зачем смотрю?

Над горой, где камень, сер, —  
Серые растаяли.  
Вслед смотрел, зачем смотрел?

Горе мне: жена ушла.  
Глупая покинула.  
Глупую зачем люблю?

Ай, Борбок-Кара, жаль, не ведал ты о том, что жил на земле человек, знавший, какие душевные терзания тебя ждут, чем кончится твоя любовь. Если бы ты знал о судьбе его героя Тюргеня, наверное, не стал бы сравнивать Чомый ни с белым молоком, ни тем более с теленком. Ах, если бы ты ей сказал: «Чомый, ты — дочь солнца», или: «Ты, Чомый, спустилась с небес»... Если бы так ты сказал, возможно, пути твоей любви оказались бы совсем иными...

Я видел собственными глазами, как мучительно больно умирала первая любовь нашего тогдашнего вождя и друга. Как в большую засуху выгорают травы и цветы, так сгорала и его любовь.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ — о том, как возвращались мои дядья с фронта, и о новых поворотах жизни

Закончилась война, и мы, дети военного времени, узнали жизнь другой. Она ли повернулась к нам новой стороной, или мы смотрели на незнакомую жизнь глазами удивленных цветов?.. Мы учились жить по-другому.

Мама отвезла меня в деревню к своей старшей сестре, чтобы я продолжил здесь учебу в школе, в третьем классе.

Но какое это было учение?! Я не мог не жить дома. Часто уходил к маме. Днями бродил с ребятами по Кайру-Бажи, ставил петли и капканы на зайцев и косуль, жил прежними заботами и радостями. О школе и не вспоминал, в деревню не возвращался месяцами.

В один из зимних дней, когда я жил дома, до Кайру-Бажи дошла радостная новость:

— Тадай вернулся!

Тадай — это один из трех маминых братьев. Мы знали, что он и дядя Кипий живы и должны скоро вернуться с фронта. Я никогда не видел своих дядей, не знал, чем они занимались, где работали и жили до войны, но мама изредка получала весточки от них, и я с великим нетерпением ждал их возвращения.

Услышав долгожданную весть, еще не встретившись с родным братишкой, мама всплакнула. Она разволновалась, заторопилась, стала тут же запрягать серого коня.

— Мама, возьми меня! Я хочу увидеть дядю! — подбежал я к матери.

— Дядя потом сюда придет, и ты увидишь его.

— Ну, мама!..

— Возьми ты его с собой, — выручила меня тетушка Тудар. Если бы не она, мне бы не уехать с матерью. — Пусть Барыс посмотрит на своего дядю.

О, если бы я не поехал тогда в деревню, не достался бы мне подарок, на который с завистью смотрел даже Борбок-Кара.

Кайрунская долина насквозь продувалась ветрами. Снега не оставалось: все уносили сильные ветра. Теплых одежд у нас не было. В шубейке своей, казалось, сшитой из заплат, я не замерзал, только если постоянно двигался. А в санях мне не высидеть. Поэтому мама надела на меня поверх шубы старый брезентовый дождевик, и мы помчались в Кайру сквозь белый буран.

Дядя Тадай, оказывается, остановился у младшей сестры, у тети Чодыйт. Мама протянула руку брату и опять заплакала.

Разглядев своего дядю, я не очень обрадовался. Нечем гордиться, думаю. Вид совсем не как у Максыма и Токтона. Дядя же, взглянув на мои грязные, потрескавшиеся до крови руки, на мою шубейку, украдкой вытер слезу со щеки.

В это время Темитей, сын тети Чодыйт, который младше меня на два года, подбежал ко мне:

— Смотри, что мне дядя подарил! — он явно хвастал полевой сумкой с длинным ремнем. — Вот глянь, сколько тут отделений! Для тетрадей, книжек...

Я, конечно, тайно завидую красивой сумке Темитея и краем глаза смотрю на дядю. Нет на его зеленой гимнастике ни одной медали, значка даже нет. Блестят лишь медные пуговицы. Видать, с фашистами дрался плохо. И ноги, и руки целы. Откуда мне было знать, что дядя находился на дальневосточной границе. А вот шинель его намного красивее, чем у Токтона. У моего дяди она болотного цвета, а у Токтона обыкновенная — серая.

Темитей не отходил от меня. Он учится в первом классе, ни одного дня не пропустил, потому что живет в деревне, тут его дом.

— А ты почему в школу не приходишь? — сам того не зная, он позорит меня перед дядей-фронтовиком. — Хорошо в школе! Посмотри, какие у меня книжки! Такие картинки красивые...

Вдруг и я решил перед Темитеем хвастануть:

— А я дяде заячьего мяса привез!

Мама, будто ждала этих моих слов, вытащила из мешка зайца и подала тете Чодыйт.

— О, оказывается, ты охотник! — удивился дядя. — Подожди, что же тебе подарить? — Он улыбнулся ласково и вдруг снял с себя ремень: — На, возьми...

О, поверить ли этому! Я остолбенел.

— Такую красивую и дорогую вещь, — начала мама, — зачем отдавать ребенку? Лучше сам носи.

Я испугался: «Теперь не даст...» Но Темитей подбежал к дяде, взял ремень и подал мне:

— У тебя будет ремень, а у меня — сумка!

Ни тетя Чодыйт, ни мама больше про ремень ничего не сказали.

— Но одно условие, — сказал дядя. — Ты будешь ходить в школу. Надо учиться, Барыс...

Надо же мне было приехать посмотреть своего дядю! Я узнал, что до армии он, оказывается, учился в педучилище, а теперь его назначили директором Кайрунской начальной школы. Если б я знал! — сокрушался я тогда.

Домой мама уехала одна. Я стал жить у дяди. Учился, чай пил теперь с сахаром и хлебом. Но не утихала во мне одна боль — желание вернуться домой. Даже ремень был

не в радость. Мои петли и капканы, оставленные в горах и лесах Кайру-Бажи, казались слаще, чем чай с сахаром и хлебом. Они звали меня, манили к себе день и ночь: «Приходи, взгляни на нас!» В иные дни они криком кричали. Почему-то казалось, что в них, запутавшись, попали почти все звери Алтая: заяц, лисица, косуля, кабарга, волк и даже, хотя и зима, — почему-то медведь!

Мыслями я всегда был там, в Кайру-Бажи. «Все равно уйду в горы!» — думал я. Дяде с трудом удалось уговорить меня закончить в тот год третий класс. Он со мной здорово повозился!..

И вот учебный год заканчивается, во дворе буйствует зеленый май, месяц кукушки.

Однажды к нам в класс вместе с моим дядей вошел восхитивший всех мужчина. Такого высокого человека наш Кайру, конечно, никогда не видел. Мы думали, что ростом он не меньше десяти метров. Но дядя потом сказал, что рост его всего лишь два метра. Лицо у него было маленькое, глаза голубые и пронзительные. Мы тогда красоту голубых глаз не понимали: они напоминали нам холодное небо. Мы никак не могли понять: почему бывают такие глаза? Глаза у всех должны быть как у алтайцев, — черные или хотя бы карие. Мы, дети гор, в то время еще не привыкли к европейским глазам.

И речь этого человека, конечно, мы не понимали. Мы только-только начали изучать русский язык. Тогда был такой учебник по русскому языку, в конце которого помещался небольшой русско-алтайский словарь. Мы зубрили: «Сын — уулы... сын — уулы» или «Сыр — быштак... сыр — быштак...»

Приехавший высоченный человек с тонкими ногами был никакой не инспектор или начальник, а не то режиссер, не то оператор. Имя-отчество его я забыл, но фамилию помню и сегодня — Минорский.

Верстах в трех от Кайру есть небольшой каменистый перевал, через который можно попасть в обширную долину Тади-Кышту. По-русски это значит: Место зимовки человека по имени Тади. Перевал этот был нам известен давно. Там мы не раз восхищались наскальными рисунками птиц и зверей. Удивлялись: когда и кто их нарисовал? Они казались живыми, эти нарисованные звери и птицы.

И вот дядя Тадай и приезжий человек повели нас к перевалу Тади-Кышту.

Повели вот почему: Минорский хотел «сфотографиро-

вать» нас, как мы тогда его поняли, у наскальных рисунков каким-то странным и жужжащим аппаратом. Потом дядя объяснил, что Минорский будет не фотографировать, а снимать нас для киножурнала.

У наскальных рисунков приезжий оставил только моего двоюродного брата Темитея. Нас же расставил невдалеке: кого — за дерево, кого — за камень. И велел нам представить, будто мы дети колхозников и пасем здесь, на перевале, овец.

Рисунки тогда и так были четкие и ясные, а Минорский к тому же подретушировал их углем. Это еще больше оживило нарисованных птиц и зверей: казалось, сейчас птицы взлетят, а звери продолжат свой бег.

Замысел Минорского был таков: Темитей будто бы впервые увидит эти рисунки, начнет ликовать, размахивать руками, сзывая нас посмотреть. А наша роль была — выскочить с разных сторон, подбежать к Темитею и рисункам, смотреть и удивляться.

Почему Минорский именно Темитея выбрал для этой цели? Дело, наверное, в его шапке. Ни у кого из нас не было такой шапки. У Темитея была настоящая алтайская шапка, сделанная из рысьих лап. Видно, по замыслу режиссера, фильм должен был отражать национальный колорит.

Вот все готово. Высокий человек в длинном кожаном плаще опустился на колени, нацелил аппарат на художника Темитея и взмахнул свободной рукой:

— Кричи, зови друзей!..

Нет, мой двоюродный брат никак не мог этого сделать. Уж слишком он был застенчив. Застыл и покраснел.

— Кричи, Темитей, кричи. Сними шапку и маши! — помогая Минорскому, просит и дядя Тадай.

Но у Темитея пропал голос. Застрял в горле. Брат мой заплакал и отбежал в сторону. Сколько ни просили и Минорский и дядя Тадай, он наотрез отказался. Что делать, как быть?..

— Тогда дай-ка сюда свою шапку, — сказал Минорский и, сняв с головы Темитея шапку из рысьих лап, надел ее на меня, а мою рваную ушанку протянул Темитею.

Тот отказался надеть мою ушанку, далеко отбросил ее и убежал.

Теперь наскальные рисунки находил я. Какая радость! Теперь у меня будет главная роль, я стану кричать, махать шапкой, созывать остальных ребят!

...Когда я лежал и мучительно думал о человеческих судьбах, ко мне в палату пришел Борбок-Кара:

— Кончается мой курорт. Хватит лечиться. Кто будет пасти овец? Я соскучился по ним.

Увидев, что я не реагирую на его шутливый тон, он перестал смеяться и, теребя бороду, заглянул в мои глаза:

— Что с тобой? Может, сильно болеешь, а? Наша Алтын-Чач не приходила?

— Борбок-Кара, — спросил я его, — в последний раз когда ты был у наскальных рисунков на Тади-Кышту?

— Ха, — усмехнулся он. — Зачем я туда поеду, что мне там делать? — Он почесал свою черную бороду. — Ты разве не знаешь, что теперь нет тех рисунков?

— Как нет?! Куда они могли деться?

— Дети испортили, камнями выбили те рисунки, Барыс...

— Как дети, какие дети?!

— «Ка-ки-е де-ти»... — протянул Борбок-Кара и вдруг рассердился: — Наши дети, школьники! Да еще влюбленные. Если хочешь, поезжай сам, убедишься. Некоторые, вить, специально приносили туда долото и долбили прямо поверх рисунков свои имена.

Вот она, современность! Почему же нам в детстве не приходило на ум пойти и уничтожить эти рисунки? Кто тут виноват?.. Молчу, думаю...

Быть может, я человек несовременный? Как долго, оказывается, я живу на свете... Стал современником разных эпох!

Борбок-Кара, увидев, что я не расположен сегодня к беседе с ним, ушел в свою палату.

Подумать только: дядя мой, работавший директором школы, ныне — простой чабан. Заболев под старость тяжелой болезнью, мать моя ушла в ту страну, где не бывает ни дня и ни ночи, — теперь она в вечном покое. Почти два десятилетия нет на земле брата моего и друга Темитея...

Новое поколение властвует над временем. Но ведь и наскальные надписи, и рисунки древних мастеров уничтожили тоже люди нового поколения. Видимо, многим гораздо дороже видеть на тех камнях свои имена, чем следы предков. Почему? Разве я кому позволю надругаться над могилами дорогих мне людей? Того же Темитея или моей матери?.. Кто в будущем обратит внимание на камни с выбитыми долотом именами и инициалами людей двадца-

того века?.. Думаю, даже простому любителю-фотографу они будут неинтересны.

Жив ли сегодня тот голубоглазый, двухметрового роста человек, который приехал к нам в Кайру в послевоенный год, чтобы донести до людей красоту, чудо?..

Всего, что вспоминается, не опишешь. Неловко хвалить, нехорошо охаивать своих близких родичей. Но от правды не уйдешь. Какими были пути жизни — так и хочется о них рассказать.

Младший брат матери, дядя Кипий, вернулся намного позже дяди Тадая. К этому времени я снова бросил учебу. Закончив третий класс, уехал в горы к матери и твердо решил больше не спускаться в деревню. Никакая школа, с ее прекрасными книгами и умными учителями, не могла затмить мою любимую охоту.

Дядя Тадай часто приезжал к нам, уговаривал учиться. Иногда ему удавалось увезти меня в деревню при решительном содействии матери. Ну, например, при помощи плетки, которую она крепко держала в руках. А дня через два или три я снова был дома.

— Ну зачем учиться? — не раз ставил я этот глупый и наивный вопрос перед дядей-учителем. — Половина Кайру не учились, и никто от этого не умер.

— Когда поймешь, зачем учиться, — будет поздно, — отвечал дядя, — сам будешь казнить себя и нас проклинать, почему не заставили тебя учиться.

— Ну уж нет, учеба не для меня. Чем сидеть в душном классе, лучше на хорошем иноходце ездить по горам и пастбищам! — дерзко отстаивал я свою точку зрения.

В самом деле, может ли быть что-нибудь прекраснее всадника на крылатом коне?!

Все мамы сестры и дядя Тадай жили в Кайру, и дядя Кипий присылал письма именно туда. Он писал тете Чодыйт, матери Темитея, которая заведовала овцефермой, интересуясь жизнью всех родных, обращаясь ко всем своим сестрам и брату. Спрашивал он и о нашей маме, но никогда в этих письмах не упоминал обо мне и сестре, что очень обижало, а порой и злило меня. Изредка письма от дяди Кипия приходили и к нам, в Кайру-Бажи или в Актел. И хотя в них находилась строчка обо мне и сестренке, дядя не называл наших имен. Это не могло не сердить меня.

Писал он из самого Берлина. Присылал в письмах и фотокарточки. На одном фото дядя был чисто и красиво одет, в белой рубашке, при галстуке. На другом — в комбинезоне и пилотке. Он сидел на крыле огромной машины. В этот снимок я невольно влюбился, еще бы: мой дядя шофер! Подсчитал колеса его машины — десятки! Вот на какой необыкновенной машине работает мой дядя!.. Об этом я прожужжал уши и Борбок-Каре, и Метирею, и Паше, словно я сам был шофером этой десятиколесной машины.

Хотя и кончилась война, время было все равно трудное. По-прежнему плохо было с питанием. Приходилось есть и отруби и жмых. Наша земля — высокогорная, суровая, на ней ничего не растет. Даже картошка...

Помнится, однажды дядя Кипий прислал посылку. Посылка пришла на имя тети Чодыйт. Мне досталась рубашка, которую я носил, пока не истлела на моих острых плечах. А досталась она мне так.

Мама никогда не спускалась в деревню с пустыми руками. Она везла родным алтайский самодельный сыр-быштак, творог-эдегей, а если я убивал ко времени ее поездки горного козла или кабаргу, непременно брала с собою мясо. Грузила на сани и сухие лиственничные дрова. Вот после одного такого путешествия мать и принесла ту самую рубашку.

— На рубашку, балам-сынок, мы сшили ее из мешка, в котором была посылка твоего дяди Кипия, — просто сказала мать.

А разве мне важно было, из чего она? Была бы без дыр и заплат. Надев рубашку, оглаживая ее своими потрескавшимися черными руками, я радовался: как хорошо, что у меня есть дядя.

Прошел год. Я становился человеком самостоятельным. Колхозник!.. Летом пас табун коней. Коня седлал — какого выберу! Я уже, как взрослый, объезжал строптивых коней. А это — достоинство алтайского мужчины, от такой славы отказался ли бы хоть один алтаец?

— Сын волка — волком вырастает, — говорили тогда люди обо мне.

И мне это было приятно слышать, я гордился: значит, я похож на отца! Он тоже был табунщиком. Да еще каким! Отменным! И лучше моего отца никто копей не объезжал. Конечно, я очень хотел быть сильным, ловким, бесстрашным, как он.

Но пока мне доверяли табун только летом, когда не хватало табунщиков, потому что даже их отправляли на сенокос. Готовить корм для скота летом было главной задачей всех колхозников. Замещая какого-нибудь табунщика, я мечтал, как через два-три года стану настоящим, даже старшим табунщиком. Буду пасти коней и зимой, не только летом. Вот тогда во всем Кайру не найдется такого парня, даже взрослого мужчины, под седлом которого будет конь лучше моего. Только немного подождите. Я вам это докажу!

Однажды осенью я приехал в деревню. Зачем — не помню. Когда проезжал мимо юрты тети Чодыйт, выбежал Темитей:

— Барыс, зайди к нам, тебя зовет дядя Кипий, он вернулся из армии..

Мне совсем не хотелось заходить к тете Чодыйт, я даже не обрадовался приезду дяди: знал, что опять начнется разговор об этой проклятой школе.

Войдя в дом, я тут же прилип к косяку двери. Почему-то очень смутился. Бросило в жар.

Дядя Кипий показался мне намного выше дяди Тадая. На мои рваные штаны, на обутки мои он посмотрел как-то странно, брезгливо, что ли. Сам он был не в военной форме, а в белой рубашке и в черном костюме.

Я вспотел и смотрел не на дядю, а себе под ноги.

— Подойди и поздоровайся с дядей, — подсказала тетя Чодыйт.

Дядя Кипий сам подошел ко мне и спросил:

— Как живет мать?

«Нет бы узнать, как я живу и работаю!» — разозлился я и ничего не ответил.

— Скажи ей, что я у Чодыйт, пусть завтра приедет. Ты в каком классе учишься?

«Началось!»

— Я работаю, не учусь.

— Это плохо. Ты сколько классов кончил?

— Три.

— А Темитей вот младше тебя, а тоже уже в третьем...

— А я зато табунщик! — гордо выпалил я, перебив дядю.

— Ты, наверное, не табунщик, а лентяйчик, — вдруг засмеялся он.

Я вскипел, выбежал из дома, сел на коня и ускакал.

Той осенью я до снега пас коней...

Как я радовался, что мне доверили колхозный табун до самой зимы! Но радость моя к концу омрачилась: и замутился я, и было страшно, и рано наступили зимние холода.

Хорошо, конечно, красоваться на отличном иноходце. Приятно летом ездить по горам, слушать тонкое ржание жеребят. Но ночевать в холодные, почти морозные ночи под открытым всем ветрам кедром ой как трудно! Еще хуже, если волки нападут на табун да погубят какого-нибудь жеребенка. Каково рассчитываться за него с колхозом? Той осенью волки двух жеребят съели. Удержали с матери. А сколько она зарабатывала?!

Но самое, наверное, жуткое было в ту осень — одному почевать в горах, у одинокого костра под холодным, злым небом. Греешь грудь — спина мерзнет. Повернешься спиной к огню — ветер холодный дует в лицо. Никак не согреться...

Рано в тайге начинаются снежные дожди... пурга... Сыро, темно кругом. А как спать ложился? Под себя стелил нутник, под голову пристранивал седло. Укрыться было нечем. А одежда какая?! А уж вот-вот зима нагрянет, ударят морозы, которых порой не выдерживали и деревья: сучья трещали и ломались. Нет, мне казалось, я не выдержу. Застигну, подохну один в горах...

Зимой я, как всегда, охотился. С весны и летом, забыв все свои невзгоды и страхи прошлой осени, опять пас копей.

Как-то в конце августа к нам в Актел приехал дядя Кипий. Он теперь жил в Ело, работал председателем сельского Совета.

Я был дома. Мама заварила чай, угощала гостя. Я старался так сесть перед дядей, чтобы он не видел моей изодранной одежды...

К осени густых и сочных трав становится все меньше и меньше. Кони, в поисках еды, все дальше уходят в горы. В логу их не удержишь. Поэтому приходится гоняться за ними, искать их среди высоких зарослей и кустарников. Вот откуда порванная одежда, особенно — штаны. На них смотреть страшно: как красные заплаты, проглядывает сквозь дыры мое исцарапанное тело.

Я пытался руками прикрыть дыры, но было их так много, а ладоней — только две...

За чаем разговаривали о том, о сем. Я видел, что дядя изредка взглядывает на меня, что-то про себя обдумывает, но говорить обо мне он пока не решался.

Закончив пить чай, дядя Кипий раскрыл свою черную сумку, вытащил из нее солдатские галифе желтого цвета и зеленую гимнастерку и подал их мне со словами:

— Иди надень все это!

Я вышел из юрты, за деревьями переоделся и быстро вернулся. Телу стало легко и уютно в теплой одежде без единой заплаты. Но только выглядел я, должно быть, очень смешно: поглядев на мои ноги, дядя не смог скрыть усмешки. Тут и я увидел, что широкие части галифе пузырями опустились ниже моих колен.

А дядя Кипий вдруг спросил:

— Ну как, не надоело быть табунщиком?

Что ему ответить?

— Сынок, ты поедешь учиться? — совсем неожиданно удивила меня вопросом мама.

— Что ты, мама, какая учеба? Я ведь два года не учился. Кто же меня, переростка, возьмет в четвертый класс?

— А хочешь учиться в городе? Там для детей пастухов открывается новая школа, — объяснил дядя. — Поедем?..

И вот мы с дядей, вдвоем на одном коне, доехали сначала до Ело — страны, где жили удивительно умные мальчишки и где жил теперь дядя Кипий. Оттуда поехали в районный центр Онгудай, куда к этому времени переехал дядя Тадай. Он работал учителем математики в школе и очень обрадовался, что я наконец буду учиться. Дядя Тадай оказал мне самую необходимую для этого услугу: выписал фиктивную (не буду и этого скрывать) справку, будто я на «хорошо» и «отлично» окончил Кайрунскую начальную школу. Без такой справки нечего было и ехать: в областную национальную среднюю школу принимали только с пятого класса.

Пока шла война, не только я, многие дети бросили учебу. И потому Горно-Алтайский областной комитет партии и облисполком специально для детей алтайцев-пастухов открыли такую школу с интернатом на полном государственном обеспечении.

Приехав в школу, я удивился, как много нас, детей, тут собралось и как мы все похожи: грязные, рваные, худые. Мы кишели, как муравьи, не только возле здания школы, мы заполнили и улицы маленького городка. Шмыгая сопливыми носами, гурьбою ходили по деревянным тротуарам, удивляя и пугая горожан.

Разобравшись с нашими документами, нас повели в баню. Ах, что это за чудо! Как его... мы-мы-ло? Щиплет и пенится белым-белым снегом. Правда, когда попадет в глаза — заплачешь. Даже Борбок-Каре будет от этой штучки трудно.

Нашу одежду прожарили в какой-то горячей печи. Овчинные шубейки от жара скукожились, стали похожими на лица старух. После бани всех переодели: каждому дали новую рубашку, костюмчик из черного сукна и ботинки. Мы не узнавали друг друга.

Повели в столовую. Тут опять открытие. Запах пищи какой-то новый, нам он не нравится. Особенно противно пахнет... как ее... ка-пус-та. Как только люди едят такое?! А этот... помидор?! Отец такого не видал и не едал! Спаружи красивый, кругленький, красный такой, а внутри слизь. Сперва я думал, что это и есть хваленое всеми яблоко. Хватанул с жадностью и чуть не задохнулся. Тпфук! Брызнул-то как! Противный сок и зернышки испачкали лицо и одежду.

...Началась учеба. Я в пятом «А» классе. Сижу смиренно. Ведь два года книг в руки не брал. К тому же учился я на алтайском языке. А тут входит в класс учитель — русский, второй, третий — опять же говорят и рассказывают только по-русски. Ни одного знакомого слова!

А во дворе золотая осень. Дует теплый осенний ветер, падают листья с тополей. Печально на душе и тоскливо. Тоскую по родине. Кажется, сам становлюсь как осенний желтеющий лист тополя. Эх, сейчас бы очутиться дома! Там, в логах и долинах, тихо. Кедровый орех уже созрел. Скоро выпадет первый снег. По нему побегут тысячи следов. Все выедут белковать. Быть бы мне среди них!.. «А если удрать? Как я буду учиться, если по-русски не знаю ни одного слова? Ну, поругают дяди и мать, пусть даже побыют — уеду!»

А как уехать без денег? Бесплатно по Чуйскому тракту никто не повезет...

Пока я решал, как удрать, в моей школьной жизни произошли перемены.

Это случилось на уроке ботаники. Учитель был добрый старичок. Стоя на одном и том же месте, покачиваясь, как маятник, он рассказывал и рассказывал, не обращая внимания на посторонний шум и шепот учеников. Некоторые, не слушая его, делали свое: рисовали, читали, писали домашней письма,

Учитель ботаники никогда не вызывал неожиданно: спрашивал всегда по алфавиту. И однажды, о кудай-бог, он вызвал меня!..

В нашем пятом «А» знали русский язык и хорошо учились только несколько девочек из сел, расположенных недалеко от города. Они, эти девочки, сидели на первых партах. Как только учитель задавал какой-нибудь вопрос, руки их стрелами взлетали вверх: «Я отвечу, спросите меня!»

А я? Ни слова не понимая на уроке, и дома не открывал учебников — зачем? Все равно убегу! Чтобы меня не спрашивали на уроке, я и голову прятал за крышкой парты, и скрывался, весь сжавшись в комок, за спинами сидящих впереди, и вообще готов был все уроки просидеть под партой.

Когда учитель ботаники назвал мою фамилию, по мне, как по железу, прошел какой-то звон. Чего ему от меня надо?

Девочки с первых парт подбодрили:

— Выходи, не бойся, расскажи по-алтайски, а мы переведем. Не стесняйся, ну, выходи же!..

Я вышел к доске. Такая тоска на душе, так хочется домой! Эх, будь что будет! Набрался духу — и стал рассказывать, как охотился за белками, как ставил петли и капканы на косуль, кротов, сусликов. Даже о работе табунщика рассказал. Вижу — всем интересно, слушают, да еще как!

А учитель, видно, догадывался, что речь идет отнюдь не о ботанике, потому что с любопытством посматривал то на меня, то на класс. Но дал мне вволю выговориться, не перебил.

— Кто переведет? — спросил он, когда я замолчал.

— Я, я! — поднялись руки с первых парт.

Учитель вызвал одну из девочек, и та бойко защебетала, как я узнал потом, вчерашнюю тему по ботанике, которую я должен был рассказать. Когда она ответила, старый учитель посмотрел на меня с хитрой улыбкой и вдруг сказал по-алтайски:

— Оказывается, ты хорошо усвоил материал, молодец!.. Но за то, что ты отвечал не по-русски, пока ставлю не пятерку, а четверку. Давай свой дневник. А дальше посмотрим. Учись говорить по-русски...

Я покраснел. Но тем не менее не отказался от четверки...

Так через два года возобновилась моя учеба. Теперь я приезжал домой только летом, на каникулы. Помогал матери. Косил траву, стоговал сено.

Во второй свой приезд, на сенокосе, я заметил очень красивую девушку. Кто же такая?.. Да ведь это так неузнаваемо похорошела та самая Чергий, младшая сестра Чомый, что ходила когда-то в рваной грязной юбчонке и была худой и большеглазой! Как она быстро выросла! Посмотрите, какие длинные и черные волосы у Чергий! А лицо белое-белое. И на нем двумя радугами раскинулись брови. Вся она стройная, ладная. Как же это я раньше ее не замечал?

— Какая ты красивая, Чергий! — я встал метать стог с ней рядом. — Такую красавицу я не встречал даже в городе.

Чергий промолчала. Опустив на самые глаза голубенький платочек, она собирала граблями остатки сена и накладывала его на волокуши.

— Чергий, ну подними хоть раз свои звездоподобные глаза!

— Не издевайся! — сердито сказала Чергий и первый раз взглянула на меня. Глаза большие, карие. Ресницы длинные и темные, как вечерние сумерки. Взглянула — и снова за работу. — Ты не хвастайся, что стал городским. Подумаешь!

— Ты зря ко мне так плохо относишься. Я и не собирался хвастаться, не сердись. Но ты ведь на самом деле красавица, Чергий...

— Видать, привык разговаривать с городскими девушками, — она приподняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. — Что, впервые меня видишь, да? Или не умел отличить камень от дерева?

— Почему ты такая сердитая? Раньше ты не была такая красивая, вот и не замечал, — ответил я совершенно откровенно. — Может, вечером встретимся, а?

— Зачем?

— Будем дышать свежим воздухом, просто так побродим.

— Свежим воздухом дыши в городе, — засмеялась Чергий. — Кто тебе сказал, что мне тут не хватает свежего воздуха?

— Ты языком стреляешь, как из автомата!

— Девушка смутилась. Потом опять посмотрела на меня:

— Ты культурный! Потому-то и решил поиздеваться надо мной, да? Терпеть не могу культурных!..

В тот же день вечером мама, мягко улыбаясь, но решительно сказала мне:

— Ты кончай заговаривать с Чергий. Разве не знаешь, что скоро ее свадьба с Аткыром?

— Как?! — растерялся я. — Ведь Чергий — сестра Чомый?!

— Ну и что?

— Да ведь на Чомый хотел жениться Борбок-Кара! Там два брата, здесь две сестры?!

Не скрою, мне это известие было неприятно, я завидовал Аткыру и не скрывал этого от Чергий.

— Если бы ты не ужал в каменный город, — сказала она мне перед моим отъездом, — я бы еще подумала...

Я уехал. А через несколько лет написал вот это стихотворение:

И вновь весна прибежала ко мне  
С брызгами слез на лице.  
И девушку-землячку из дальней дали  
Ко мне привела с собою она.

На ногах, вымокших в горной росе,  
Цветы и травы прилипшие вижу.  
Всплакнув, она упала на грудь,  
Мокрое от слез скрывая лицо.

— Что ты нашел в том городе каменном? —  
Глаза большие мучительно кротки. —  
Кому ты оставишь на стойбище меня?! —  
Горькую мысль не может скрыть,

— Но мне... мне надо учиться! —  
Отстранив ее, говорю жестоко.  
Быть может, в груди моей сердце другое —  
На рану горькую сыплю соль.

Не жалея девушку-землячку,  
Отстранив ее от себя,  
Мук ее душевных не понимая,  
Уезжаю в город далекий.

...И вновь весна прибежала ко мне.  
С брызгами слез на красивом лице.  
От имени далекой и забытой девушки  
Спросила вдруг: «Счастливы ли ты?..»

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ — воспоминания о свадьбе брата Борбок-Кары Аткыра и об их дяде Урмате

Каждого жизнь испытывает по своему усмотрению. Отправив человека по своим таинственным путям-дорогам, сама и следит за ним.

В первых любовных муках нашего великого вождя и друга Борбок-Кары и его брата Аткыра все не просто.

Вы помните Аткыра, младшего брата Борбок-Кары? У него серые глаза, торчащие уши, небольшой горб. Мало красоты в этом человеке, красоты внешней. И сколько же мук и страданий выпало на его долю!

Как Аткыр мучился в детстве! Тогда-то мы, дети, этого не понимали до конца. А ведь он был лишен главного в эти годы — движения. Говорили, что у него костный туберкулез. Возможно, это было и так. Но тетушка Кажакай смогла поднять сына на ноги. Она постоянно натирала его медвежьим салом, жиром других животных, барсучье сало смешивала с травами и медом — доставала же где-то! — и этим кормила Аткыра. Я не раз видел, как она укутывала сына на ночь, приложив к его спине запаренный мох с брусничным листом. И Аткыр встал. И пошел. И по сей день здравствует. Когда я думаю об этом, хочется сказать: силен человек! И сильнее того любовь матери к сыну...

Лежа целыми днями один, Аткыр выучился играть на алтайской дудке-шооре и на комусе. Он не только хорошо играл, но и был наделен даром подражания. На шооре и комусе он очень точно воспроизводил манеру исполнения и своеобразие голоса любого исполнителя, слышанного нами. А как он умел на шооре и комусе подражать голосам птиц, обитающих в горах Алтая! Мы часто прибегали его послушать.

Но для Аткыра песня была его жизнью. И не однажды пришлось мне видеть, как из его серых глаз каплями свинца выкатывались тяжелые слезы, когда он выводил мелодии алтайских песен, лежа один в опустевшей избушке или юрте. Он молча плакал, поверяя свои думы и чувства комусу и шоору.

Когда Аткыр смог ходить, он, опираясь на костылек, всюду бегал за нами. Но Борбок-Кара, щадя силы брата, никогда не брал его в длительные походы, на что Аткыр очень обижался.

Когда мы все разъехались учиться, Аткаыр остался без ровесников, и опять он не расставался с шоором и комусом. И о любви его они узнали первыми.

Не Аткаыр выдумал: покорить сердце красавицы своей игрой. Сватать девушку при помощи печальных, плачущих звуков комуса — древний алтайский обычай. Находкой Аткаыра стало прибавление к нежной и порхающей мелодии комуса своеобразных звуков, песен шоора.

Каждый день поднимался он на верхнюю ферму, пристраивался где-нибудь вблизи юрты Чергий и, не отрывая от рта шоор, пел и пел печальные мелодии. Иногда заменял шоор комусом и опять продолжались песни любви и печали.

Очень скоро все поняли, кому посвящает свои страдальческие мелодии Аткаыр. Но и не думала их замечать Чергий.

Влюбленный человек иной раз не то что слово сказать своей возлюбленной, побаивается даже встретиться с ней. Боялся и Аткаыр. И каждый день пел...

Однажды мать его, тетушка Кажакай, не выдержала:

— Если тебе по душе младшая дочь Карамая, то как дурачок не играй на шооре, а языком человека и мужчины скажи ей об этом, — посоветовала она сыну. — Не она же к тебе подойдет и скажет, чего людей-то смешить...

— Мама, как мне ее сватать? — покраснев до слез, спросил Аткаыр.

Кажакай, не готовая к такому вопросу, подумала-подумала и решила идти по древнему, испытанному пути.

Раньше алтайцы жили кочевьями, разбросанно: одна семья в одном логоу, другая — в другом. Потому-то парень, задумавший жениться, в один прекрасный день возлагал нарядное седло на своего коня, одевался сам как можно праздничнее и отправлялся по горам и весям искать себе невесту. Чаще всего выбирали не по красоте, а спрашивали в кочевье: есть ли у них работающая девушка, умеет ли она шить, варить, доить... Если не находилось невесты в кочевье, то всегда знали, где есть подходящая девушка. При этом всегда про всех знали, кто какого рода-племени. Каждый род был чем-то знаменит, у каждого были какие-то особые традиции. Парню оставалось только слушать и присматриваться. Если девушка ему нравилась, он просил засватать ее.

Сватами становились, как правило, люди достойные, умеющие в нужный момент отстоять жениха, не лезть за словом в карман. Они на все лады расхваливали парня,

будущего мужа девушки. А парень, еще ни слова не сказавший той девушке лично, ждал ответа ее и ее родственников. Как только получали согласие, начиналась бурная подготовка к свадьбе.

Но, конечно, не все так поступали. Иные сами находили себе жен и даже без согласия родителей приводили их домой. Бывало и наоборот: парень не хотел брать в жены девушку, а его родители заставляли взять ту, которая им нравилась.

И все-таки чаще сватали по обычаю. Этот древний обычай Алтая нет-нет да и теперь возрождается. О нем думала и тетушка Кажакай, когда Аткаыр спросил ее, как сватать Чергий. Сын выбрал невесту. Так дело теперь за сватами!

Не посвятив в свои думы Аткаыра, мать сказала ему:

— Съезди, сынок, в деревню к дяде Урмату. Уж он-то поможет тебе.

Дядюшка Урмат — старший брат тетушки Кажакай — один из самых удивительных людей нашего Кайру. Такие встречаются один на тысячу человек, да и то не всегда.

Нам, мальчишкам, дядюшка Урмат казался стариком, и звали мы его дедушкой, а было ему после войны всего пятьдесят. Я не запомнил его довоенным, в военные годы он работал на угольной шахте в городе Кемерово — это совсем недалеко от Горного Алтая. Сразу же после войны вернулся домой, в родной Кайру, и часто приезжал к своей сестре Кажакай в Кайру-Бажи и Актел.

Дядюшка Урмат очень любил рассказывать. Слова с его языка сыпались градом. Где только их брал? Говорил чисто и гладко. Так порой скажет, что и шва не найдешь, а ведь чуешь: сочиняет дядюшка Урмат. Слушали его охотно, и было совсем не важно, где у него правда, а где выдумка. Сам он всегда верил тому, что рассказывал другим. Поговаривали, что к своим пятидесяти годам он успел жениться более десяти раз, но никто не ведал, правда это или нет. Я его знал только холостым.

Нам, детям, было интересно спрашивать дедушку Урмата о боях, походах, сражениях Красной Армии, где он служил. А слушателей постарше интересовало другое:

— А где ваши жены, дядюшка Урмат, почему вы с ними разошлись? — спрашивали они.

— Моя первая жена осталась в Даурии, — отвечал ста-

рый солдат. — Женился, когда служил в Красной Армии. Красивая женщина, русская женщина. А кто сказал, что я ее оставил? Я был солдат, меня перевели в другое место... Я с нею не разошелся.

— А вторая жена где осталась? — улыбались слушатели.

— Вторая? Там... — он неопределенно кивал головой куда-то вбок и замолкал.

— Где «там»?

— Да мало ли в Советском Союзе городов и сел? Все там... — гордо и грозно заканчивал он разговор о своих женах: о них он рассказывать не любил. Потом опять долго молчал, что-то вспоминая, и неожиданно говорил: — Имя ее Аксюша... Да, Аксюша...

Кто была эта Аксюша, была ли она его второй женой, да и была ли женой вообще — мы никогда не узнали. Назвав ее имя, дядюшка Урмат сидел молча долго-долго и был совсем не похож на себя, всегда любившего поговорить, позубоскалить.

Ну, а если мы своим вопросом успевали опередить взрослых, дедушку Урмата было не остановить.

— Я, ребята, служил в кавалерии, у самого Семена Буденного! — так обычно начинал он свой рассказ.

Дядюшка Урмат был один из тех, кому первыми из нашего Кайру выпало служить в рядах Красной Армии. До того времени алтайцев на службу не брали, что сильно обижало наших дедов и отцов. Поэтому попасть в ряды Красной Армии было очень радостно и очень почетно.

— А вы знаете, — продолжал дедушка Урмат свой рассказ, — Семен-то Буденный, мой знаменитый командир, человек не русский, а чистейший алтаец! И не просто алтаец, а, клянусь вам молоком матери, он, как и я, ваш покорный слуга, из рода майманов. Да, из рода кара-черных майманов! Мы с Семеном жили как два родных брата, только он, конечно, был старший брат... Эх, дорогие годы, дорогое время! Тогда какие были героические парни! — Дедушка Урмат, глядя на нас желтоватыми глазами, качал лысеющей костистой головой и поглаживал усы.

Если кто-нибудь позволял себе не поверить, что Буденный алтаец, Урмат обижался:

— Скажи, пожалуйста, ты воевал, проливал кровь, как я?.. В красной кавалерии самого Семена Буденного ты служил или я, скажи?!

Усомнившись в правдивости слов дедушки Урмата

делали предупредительный знак, чтобы он притих. А что до старика, он, как говорится в героических сказаниях, мог «семь дней и ночей» рассказывать о боях и походах, о своем командире.

— Ну вот, послушайте меня. Наш огнеподобный, героический командир Красной Армии Семен Буденный, если хотите знать, родился в прикатунской долине, родом он из тамошних черных майманов. Да, он родился на берегу красавицы реки Катунь! Давно, в молодости, я работал ямщиком. Много раз ездил в верховья Катунь. Мне еще тогда о нем знающие люди рассказывали. — Урмат пронзительным желтым взглядом смотрел на слушателей. — В детстве Семен, слышал я, был не то чтобы хулиганистым, а шустрым, очень шустрым был мальчиком. Подумайте сами: стоит во дворе у коновязи строптивый, еще не обьезженный конь. А Семен, рассказывали, совсем-то мальчишка, вдруг сорвется с места и проскочит меж ног коня. Тот еще и шевельнуться не успевал, а уже Семен тем же путем — обратно. Вот какой был мой командир. Не человек, а пуля! Не зря говорит алтайский народ: «Батыр виден в детстве, а урожай — в колоске».

— А вы виделись со своим братом, Буденным, разговаривали с ним? — интересовался кто-нибудь.

— А как же нам не встречаться, не разговаривать, если мы из одного майманского рода, а?! — удивлялся дедушка Урмат и с великой гордостью продолжал свой рассказ о встречах с «братом»: — С белобандитами сражался я сильно. Очень сильно! Догонял их и на скаку рубил их головы. И стрелком я был метким. Буденный все это примечал... И вот однажды Семен собрал красноармейцев и командиров в сосновом бору, а народу-то нас было — тьма, собрал и выступил с речью. Ох и жарким был его доклад! Слова все огненные, сильные и призывные. Мы и так сражались, как настоящие батыры, а он звал нас, кавалеристов-красноармейцев, уничтожать беляков, не щадить этих хвастливых болтунов. Мы все были готовы тут же ринуться в бой после таких жарких слов. А Семен, когда закончил, вдруг указал на меня: «А ну-ка, пропустите ко мне, товарищи, вон того черноволосого и красивого кавалериста». Я стоял далеко от командира. Кавалеристы расступились, как два берега, передо мною открылась, словно в лесу, широкая просека. Я четким кавалерийским шагом подошел к Буденному. Все затихли, ждут, что же будет дальше...

А Семен спрашивает меня:

— Из какой долины Алтая будешь, такой боевой и бесстрашный кавалерист?

— Из Урсульской, товарищ командир, — отвечаю Буденному, — деревня Кайру.

— Из какого же ты рода? — интересуется Семен.

Ну как тут промолчишь? Коль спрашивает сам знаменитый командир, я вынужден дать четкий ответ. И я даю.

— Товарищ командир, я из рода черных майманов!

О кудай-бог, как только это сказал, что тут произошло! Семен, брат мой Буденный, бросился ко мне, радуется, дышит взволнованно и сильными руками обнимает меня. Клянусь, все красноармейцы, которые стояли вокруг нас, словно густой лес, видели это, поверьте, люди, мне, вашему мужественному земляку. Обнял меня Буденный и даже, как маленького, поцеловал, а потом громко, чтобы все знали, объявил:

— Товарищи кавалеристы, запомните, пожалуйста, вот этого бойца, отныне он — мой кровный брат, мы с ним из одного рода черных майманов.

А вы спрашиваете, разговаривали ли мы... Мы с Семем в гражданскую войну дали прикурить врагам Советской власти, показали, что такое буденовцы, беляки узнали, какие батыры алтайцы, особенно из древнего рода черных майманов...

А вы говорите, виделись ли мы... Брат он мне, поняли теперь?.. Вот так-то...

Много всяких рассказов было у старого солдата, одиноко коротавшего свой век.

Позже я узнал, что он действительно служил в кавалерийской части, и было это где-то в Забайкалье, но было уже в конце двадцатых годов. Узнал и о том, что дядюшка Урмат принимал участие в событиях на Китайской военной железной дороге. Но сам он об этом никогда не рассказывал.

Вот что это был за человек, дедушка Урмат — дядя друзей моего детства Борбок-Кары и Аткира.

...Аткир еще долгие дни играл на комусе и шооре около юрты Чергий. Любовные муки, как острозубые щенки, по-прежнему грызли его сердце. Когда ему стало совсем невмоготу, он послушался совета матери: поехал к дяде Урмату.

— Засватайте мне невесту, дядя, — без предисловия заявил он, едва перешагнув порог юрты.

— Чо! — Урмата будто бичом ударили. Он удивленно посмотрел на Аткыра. — Коль захотел жениться, значит, выздоровел совсем и не умрешь. Обожди, племянник, на ком же ты решил жениться? На русской или алтайке? — поинтересовался Урмат и, не дождавшись ответа, изрек: — Я тебя научу! — Но тут же спросил у Аткыра: — Скажи мне, ты уже какой-нибудь шаг сделал или сначала прибежал ко мне?

— Да делал...

— Что?

— Играл на шооре...

— Эйт, «на шооре»! — передразнил дядя. — Этим, парень, ничего не добьешься. Современных девушек не шоором сватают, понятно?..

— А как, дядя, скажите!

— Разные бывают подходы к женщинам, парень. — Урмат потербил усы, набил самосадом свою трубку и надолго замолк.

Аткыру невтерпеж, ему хочется скорее получить ответ на свой вопрос, он торопит:

— Ну, дядя, помогите мне, научите, как сосватать девушку?!

Урмат покурил еще и начал:

— Кому же еще я передам свой опыт, если не племяннику? Сядь поближе и слушай повнимательней. Так вот, если хочешь жениться на русской, то прежде всего посмотри на ее огород: богат ли, беден ли, что там растет... Узнай имя хозяйшки, то есть невесты. Познакомившись, не поленись и посчитай, сколько свиней и кур держит. Почувствуешь, что все у нее ладно в хозяйстве и женщина собой гладкая, забудь про смущение, скажи ей тут же прямо: «Я вас люблю!» Горячо скажи, сильно скажи.

— Дядя, ведь я не на женщине хочу жениться, а на молодой девушке, алтайке, — не выдержал Аткыр.

— Хм-хм, — кашлянул Урмат, как бы прочищая горло. Дымя трубкой, задумался, посмотрел на небо через дымоход юрты. — Надо было, парень, сказать сразу, что ты хочешь жениться на алтайке. Для алтайских женщин у меня другие приемы...

— Дядя, да я хочу жениться на молодой девушке! Она не была замужем!

— Боть! — воскликнул Урмат. — Значит, строптивую выбрал, а?! Я-то сравнивал тебя с собой, учил, как сватать вдовушек. — Урмат, выбивая пепел из трубки, легонь-

ко постукивал ею о негорящий конец головешки. — Да, дорогой мой племянничек, где, где моя молодость, времечко мое!.. Ну, на кого же ты глаз положил?.. А я, грешным делом, почему-то подумал, что ты собираешься жениться на Арамай.

— Дядя, зачем мне Арамай? — возмутился и обиделся Аткаыр. — У нее же растет суразенок.

— А что тут такого, чем ребенок виноват?! — рассердился не на шутку Урмат. — Как я погляжу, так тебе больше и подходит Арамай, младшая сестра табунщика Яры. А насчет ребенка ее даже не заикайся, парень. Ребенок тебе на шею не сядет!

— Дядя, я хочу засватать Чергий, — решил прекратить этот неприятный разговор Аткаыр.

— Ы! Чергий, говоришь?.. Это младшая дочь моего друга Карамая, что ли?.. Так, яснее ясного. Ты сделал верно. На шооре ей можно и даже нужно было играть. Пусть тает и смягчается ее сердце.

— Дядя, не тает! Как лед ее сердце, и потому я пришел к вам.

— Обожди, племянничек, объясни мне: ты как, на коне к ней ездил или так, пешочком нес туда свой горб?

— Дядя, какой конь? Ферма рядом, а вы о коне. Конечно, ходил пешком...

— Пешком?.. Это никуда не годится! — Урмат сгоряча приподнялся было и тут же опустился на свое место. — Пешком! Кто, когда и где смог покорить сердце девушки, если ходил к ней пешком?! К красавицам полагается являться на коне, дружок. И конь чтоб плясал под седлом, едва касаясь копытами земли-матушки. Алтайской женщине по душе лихой джигит на быстроногом скакуне. Запомни это. А ты ведь и работаешь табунщиком, не так ли? Тебе все карты в руки!

— Попробую к ней прискакать на коне, — быстро согласился Аткаыр. — А сватать как, дядя?

— Вот именно! На коне! — обрадовался дядя Урмат первой своей победе. — И найди для нее такие слова, чтобы сердце расколосось, как лед весной.

— Какие слова говорить, я ведь за этим к вам и пришел?

— Вот послушай. Не зря раньше учили молодежь, чтобы слова мудрецов собирали в мешок, — считая себя мудрецом, загордился Урмат. — Сердца алтайских женщин требуют особого колдовства, парень. Послушай, вот древ-

нейший метод. Подъедешь к ней на отличнейшем иноходце. Слезь с коня. Поздоровайся. Спроси, какого она рода племени. Не забудь в свою очередь о своем сказать.

— Ну, дядя! — перебил Аткир. — Я же род Чергий знаю давно. И она мой тоже.

— Эйт, не перебивай! — Урмат строго посмотрел на Аткира. — Коль все знаешь сам, зачем ко мне явился?

— Молчу и слушаю...

— Вот, будь скромным. Не лезь вперед. Дальше слушай... Поздоровавшись с нею, старайся долго не отпускать ее руки. Мягким, воркующим голосом скажи ей: мол, какие у вас теплые и мягкие ладони, и при этом смотри ей прямо в глаза. Скажи: глаза ваши, как звезды, лучистые. И дальше, дальше, все тем же макаром. Быстроту ее пог сравнивай с ветром в чистом поле. Не давай передышки. Вытащи и преподнеси свой подарок. Например, кольцо из белого серебра или плат какой... В общем, племянничек, сам разумею. Раньше, например, было так: увидит влюбленный у возлюбленной кисег или носовой платочек, тут же, без разрешения, правдами и неправдами забирает его себе. И ты так сделай, отними у нее что-нибудь, а захочет отнять — не отдавай, беги в безлюдное место. Она — за тобой, а ты — в кусты... И дальше и дальше! А там все выяснится.

— Нет, дядя, — Аткир тяжело вздохнул, — я так не смогу...

— В таком случае, мне все ясно. — Урмат махнул рукой. — Лучше тебе сватать Арамай.

— Не нужна мне Арамай, — чуть не плача сказал Аткир.

Урмат сжалился:

— Ну что с тобой делать?! Если сам не можешь, я тебе засватаю Чергий.

— О кудай-бог! — радостно воскликнул Аткир. — Неужели это правда? Дядя!..

— Как это «неужели»? Будет так, коль сказал! Перед тобой человек, который умеет покорять сердца молодых. Только терпи, засватаю и приведу в юрту твою Чергий.

— Может быть, дядя, мне сходить в лавку, а?

— Можно. Это хорошо, самый момент отметить. Слово! Она будет твоя! Хотя я старик, но методы мои пока не устарели.

Аткир поверил дяде, легко и быстро перепрыгнул через порог юрты Урмата, вскочил на своего смиренного коня

и стрелой полетел по единственной улице Кайру к магазину. Куда уж там пешком?! Чувство радости захлестывало Аткура. Ему хотелось поскорее очутиться в горах и огласить родные просторы вдохновенной песней своего комуса...

Пожелтели ветки лиственниц. Не выдерживая даже легкого ветра, они падали на сырую землю. Длинная спина горы Яну уже побелела от снега. Утром и вечером в Актеле дыхание воздуха становилось холоднее, серебристым инеем покрывалась земля.

— Ич-и-ке-ей, — говорили алтайцы, чувствуя приближение холода, — зима уже опустила на горы свои белые ноги.

Глаза солнца тускнели, шея дня становилась все короче. Приближалось время перекочевки на зимнюю стоянку. Приближалось время занятий в школе.

Но лето еще напомним о себе. Придет благодатная пора бабьего лета. Оно как дар самой природы — лето прощается с людьми и скотом.

Как не хотелось мне уезжать в город в те августовские дни, когда актелские доярки шептались о предстоящей свадьбе Аткура и Чергий! Сердце болело от непонятной тоски. Хотелось быстрее в город, и никак не мог я расстаться с домом, не мог не видеть Чергий.

— Тетушке Кажакай достанется хорошая сноха, — радовались за страдавшуюся мать ее подруги — наши добрые доярки.

— Как мы были неправы, когда считали Урмата вруном, — осуждали себя виноватые. — Ведь он лучшую девушку засватал своему племяннику. Подумать только, такую красавицу...

Какие слова сказал Урмат Чергий, когда с нею встречался, никто не знает. И поэтому разговоры были всякие, говорили и недоброе, и без зависти не обошлось:

— Дело это не совсем простое: Чергий ведь не любит Аткура, а дала согласие... Разве не удивительно?!

— Не поймешь, что за язык у этого Урмата! Похоже, слова его тают, как масло, а прилипают, как смола.

— Он, наверное, знает колдовское дерево, — поправляя свои длинные черные волосы и искоса глядя на собеседниц, говорила Кыйгас. — Говорят же, что где-то в горах встречаются колдовские деревья...

— Может быть, может быть, — легко соглашались с ней женщины.

— Тпфук! — не выдерживала, вступала в разговор все-

гда молчаливая тетушка Кару. — Что это за невеста, чтобы ее выменять на родную мать или брата? Хорошо, что Борбок-Кара в армии, не знает все это.

Слова тетушки Кару были небеспочвенны. У алтайцев существует такая легенда. Кто найдет колдовское дерево, должен срезать с него кусочек коры, раскрошить ее, подмешать в еду или всыпать в питье тому, чью голову хочешь вскружить, и, прошептывая магические слова, подать это питье или эту еду избраннице (избраннику). Можно, раскрошив кору и перемешав ее с табаком, набить им трубку и подать ее с теми же магическими словами ей или ему, если они курят.

Колдовское дерево почти мгновенно приворожит человека. Но только, говорят, тому, кто воспользуется корой этого дерева, не миновать беды и несчастья. И не только скот его будет падать. Говорят, из-за колдовства может на тот свет уйти близкий человек. Страшно это! Лучше не трогать колдовское дерево, не подходить к нему...

Все эти толки и разговоры не могли пройти мимо ушей Кажакай. Поэтому она пошла на верхнюю ферму, чтобы лично встретиться и поговорить с самой Чергий.

— Говорят, что ты согласилась стать моей снохой, Чергий, правда это или... — Девушка смотрела на мать Аткура почтительно. — В твоих глазах не нахожу радости... — Кажакай тяжело вздохнула и покачала седеющей головой. — Значит, я зря поверила своему старшему брату?

Разговор этот состоялся рано утром, Чергий только вывела пастби своих телят. Таежные травы и кусты были мокры от утренней росы. От росы почернел и подол длинной юбки Чергий.

— Все теперь стали культурными, — печально засмеялась девушка, глядя себе под ноги. — В Кайру не осталось парня, за которого можно было бы выйти замуж. Все учатся, будто хотят на небо взлететь.

— Я ведь вижу, нет радости в твоих глазах, — повторила Кажакай. — Может быть, ты решилась выйти за моего сына, не найдя в Кайру культурных парней, а?..

— Может быть, — Чергий, не глядя на тетушку Кажакай, шумно вздохнула. И вдруг засмеялась: — Жди их, культурных, так и состаришься! — Она опять погрустнела и дерзко призналась: — Недавно был тут один культурный, обещал, что увезет, и след простыл. Никаких вестей...

— Что же нам делать? — пыталась Кажакай. — Готовиться к свадьбе? Говори откровенно.

Чергий долго молчала. Она смотрела вниз, пальцами босых ног срывала холодные мокрые цветки и траву.

Кажакай опять заговорила:

— Аткар день и ночь тоскует по тебе, скоро высохнет...

— Что делать, — Чергий снова вздохнула, — раз уж начали готовиться, то готовьтесь...

Вскоре люди срубили молоденькую белую березку и прибили ее к дымоходу юрты Аткара. Это древний знак того, что скоро в этой юрте будет свадьба.

И вот долгожданный день близок: завтра будет той-свадьба Аткара. Такое не каждый день бывает. Зашевелились, загалдели люди. Кто-то варил араку из чегеня — квашеного молока. Гулко стучали там и тут ступы, обдирая ячменное зерно для мясного супа.

Жизнь вокруг хорошела с каждым днем. Стыдно было делать плохую, бедную свадьбу. Решили зарезать не одного, а трех баранов. Возле юрты Кажакай сооружали из камней таган для казана — большого котла. И рыли большие ямы, чтобы в них разжигать огонь и в огромных котлах варить мясо.

В день свадьбы Аткар был разговорчив, как никогда, шутил, улыбался. Его серые глаза были переполнены радостью. В голубой рубашке и черных брюках, весь искрящийся счастьем, Аткар был даже красив. Как главный виновник торжества, он сновал туда-сюда, помогая, подсказывая, слушая, спрашивая. Уши его не пропускали мимо ни слова, ни звука. Память отлично помнила необходимое в эти волнующие минуты. Глаза видели все, что происходило вокруг юрты и за ее пределами.

— О, по перевалу Кадыргат спускаются трое верховых! — первым заметил он. — У них высокие шапки с кистями, значит, эти люди из Оймонской долины.

Кайрунцы посмотрели в сторону перевала и действительно увидели подъезжавших верхом гостей.

— Весть о моей свадьбе дошла и до Оймона, — горделиво сообщил Аткар. — Хорошо, что много будет гостей.

— Это я оповестил всех дальних и близких родственников, — похвастал дядя Урмат. Он взгляделся во всадников: — Не Максим ли это? Конечно, он. Я специально просил его приехать, уж он-то повеселит гостей на твоей свадьбе, племянничек. Такого танцора второго не найти! Я сообщил ему о тое!..

Двое из приехавших были женщины. Их тут никто не знал. А третьим оказался действительно Максим, оймон-

ский солдат, которого знали все, так как он не раз здесь бывал.

— Видишь, какие глаза у твоего дяди, глаза кавалериста: острые и пронзительные! — Урмат хлопнул Аткыра по плечу.

Несколько лет назад Максим лихо отплясывал на свадьбе Чомый и Токтона и тогда сказал жениху:

— На твоей красавице должен был я жениться, но ты опередил меня, молодец! Мы с тобой, Токтон, фронтовики. Прощаю тебе и не сержусь! Живите хорошо, будьте счастливы.

И вот подросла Чергий. Сегодня ее свадьба...

На эту свадьбу плясун прибыл в черных, а не в красных, как ходил до сих пор, сапогах. Но и они начищены до блеска. Как зеркало сверкают. На нем галифе и китель из темно-синей диагонали. На голове — барашковая черная кубанка. Женщины, прибывшие с ним, в алтайских расши-  
тых шапках.

Навстречу гостям первым по праву шагнул Аткыр:

— Спасибо, что приехали, гости дорогие. Коль успешно осилили большие перевалы, одолели опасные реки, примите участие в моей свадьбе.

— А-а-а, свадьба, оказывается, твоя, паренек?! — Максим изумленно посмотрел сверху вниз на Аткыра. Он хотел было еще что-то сказать, но передумал.

— Свадьбой руковожу я, невесту привел к согласию тоже я! — тут как тут явился перед гостями Урмат. — Людей, прибывших издалека, пригласи, племянничек, в юрту, где будет свадьба, угости. Пусть отдохнут хорошенько.

Женщины, готовившие мясо и другие угощения для свадьбы, с радостью встретили гостей. Подали им лучшие куски, поставили арачку. Гости поели, выпили немного арачки и встали, намереваясь отправиться в путь.

— Куда так торопитесь? — удивилась мать Аткыра. — Ночуйте сегодня у нас. Если какие дела в деревне, завтра можете завершить? Максим, ведь ты хороший плясун, остался бы, а? — Кажакай узкими добрыми глазами смотрела на него. — Поддержи свадьбу моего сына. Попляши на ней, пусть люди радуются, сынок... Мы по древнему обычаю онаящем тебя красным расшитым кушаком.

— Останься, Максим, на свадьбу придут красивые девушки из Кайру, — приглашал Урмат, — если захочешь, одну из них я лично тебе засватаю, а?

— Некогда, торопимся, — одна из двух женщин вежли-

во вступила в разговор. — Максим, время идет, поехали...

Гости попрощались, вышли из юрты, на дымоходе которой шелестела на ветру белая березка, и направились к коновязи. Их провожали Урмат, Аткаыр и тетушка Кажакай.

— Ну, паренек, до свиданья, — перед тем как сесть на коня, Максим протянул руку Аткаыру. — Не обижайся, что не поплясал на свадьбе твоей...

Гости уехали. А люди продолжили подготовку к торжеству. Кто-то шел за водой, кто-то шагал навстречу с полными ведрами на коромысле... Одно слово: свадьба — хлопот предостаточно.

К вечеру через верхний восточный перевал спустился тот самый табунщик Яра, который когда-то белым чумбуром бил Борбок-Кару. Ныне он пас своих коней в благодатной долине Тегорюк меж Оймоном и нашим Кайру. Он, не слезая с коня, спросил у старика Урмата:

— Мне говорили, что Аткаыр женится на Чергий, выходит, наврали, а?.. Значит, Аткаыр женится на какой-то другой, да, дядюшка Урмат?

— Как на другой? — на вопрос ответил вопросом Урмат. — Невеста находится в назначенной юрте. А сваты наши уехали к родственникам невесты. Там уже начались, наверное, предсвадебные угощения.

— В какой назначенной юрте, — удивленно расширились маленькие глаза Яры, — если я видел ее с оймонским Максимом, они ехали мне навстречу?!

— Еще что ты придумашь, а, парень?! — разозлился Урмат.

— Чергий с Максимом теперь уже за перевалом, подъезжают, наверное, к Ак-Кобы — родной деревне Максима, — простодушно сообщил Яра. — Если мне не верите, проверьте, там ли невеста, куда ее посадили.

— О чем он болтает? — Кажакай беспокойно оглянулась на тех, кто был рядом. — О кудай-бог, разве возможно такое?!

— Ты решил поиздеваться надо мной? — Аткаыр быстро нагнулся, схватил с земли камень и с силой бросил в Яру, но не попал. — Ты... ты... — Аткаыр потерял дар речи.

Урмат, умея удивлять, сам мало когда удивлялся. Но сейчас и он не знал, что делать.

— Как же это так, правду ли ты говоришь, Яра?

— Говорю же, проверьте в назначенной юрте, там ли Чергий, — сердито повторил Яра, прищипорил коня белым чумбуром и помчался в деревню.

— Повешусь! — безумно заорал Аткаыр.

Его остановил дядя Урмат.

— Не торопись, племянник, обожди, — тихо сказал он поникшим голосом. — Сперва действительно надо удостовериться, на месте ли она. А вдруг Яра с какой-то целью нарочно сказал...

Урмат сел на коня и умчался. Вскоре он вернулся. Люди, ждущие его возвращения, сразу догадались по его виду, что Яра сказал правду.

На Аткаыра страшно было смотреть: безумными и бессмысленными стали глаза, лицо побелело.

— Дайте мне ружье! — кричал он. — Я догоню эту оймонскую собаку и пристрелю обоих!..

«Что же делать? — потеряла голову тетушка Кажакай. — О кудай-бог великий, это же позорище! Кто проклял моих сыновей? Может быть, они нарушили предначертания судьбы, полюбив родных сестер, дочерей чернобородого Карамая?..»

Немного опомнившись, Урмат позвал в юрту Кажакай и обезумевшего Аткаыра. В их разговоре посторонние не участвовали, но позже все стало известно.

— Оказывается, этот из Оймона не человек, а монгус-дьявол восточный! — ругался и проклинал Урмат. — Обожди, получит он от меня!

— Через гору не страдай кулаками! — нервно и зло выговаривала Кажакай брату. — Человек, опозоривший всех нас, не он, а только ты, больше винить некого.

— Ладно-ладно, — резко махнул рукой старик. — В такой момент нельзя отступать, Кажакай. — Он прямо посмотрел на сестру, повернулся к Аткаыру. — В такой момент надо идти только напролом, племянник. Опять-таки придется мне помогать тебе, Аткаыр...

— Что увидели мои сыновья в этих сестрах! — причитала тетушка Кажакай. — Досталась же мне злая доля, чтобы выкормить собственной грудью и вырастить таких безумцев! Опозориться перед всем народом! Как же это понять, за что такой стыд?! Хорошо хоть Борбок-Кара в армии...

— Не совсем плохи наши дела, — вдруг попытался улыбнуться Урмат. — Свадьбу надо продолжить, Аткаыр... А как ты считаешь, Кажакай, сестричка моя? — словно издеваясь, спросил он у бедной матери несчастного жениха.

— Упустив невесту, о чем теперь болтать! — злыми глазами сверкнула сестра на брата. — Мало этого позора...

— Не поняв мудрость мудреца, ты зря не кричи, Кажак! — Урмат не отступал от какой-то своей тайной идеи. — Кто тебе сказал, что нет в Кайру девушек, кроме дочерей моего бывшего друга Карамая?..

Мать Аткира подозрительно посмотрела на Урмата.

— Нам хватит и этого позора перед всем народом! Где та невеста, которую ты привел своему племяннику?!

Урмат словно ждал такого упрека.

— Одновременно я сватал сразу двух невест, — он уже спокойно выпускал дым из своей трубки, будто ничего не случилось. — Другую я оставил в запасе, сестренка. Она ждет нашего Аткира...

— И-та-та-гай! — брезгливо воскликнула тетушка Кажак! — Старик уже, пятьдесят пять лет, а болтаешь что попало! Противно даже слушать...

— Я ведь говорил тебе, племянник, об Арамай...

— Хватит о ней! Я не женюсь на Арамай! — Аткир, сидевший до сих пор тихо, вскочил, как ужаленный. — Повешусь!

Он ринулся к двери юрты, но Урмат поймал его за руку.

— Ты меня этим не пугай! — твердо и сердито сказал дядя. — Сперва послушай старого, опытного кавалериста. Потом, если захочешь, успеешь... Сегодня мы должны найти выход, снять позор, понял меня? Никто не хочет привязать тебя навеки к Арамай, понятно?.. Будь ловким и хитрым, — Урмат перешел на шепот. — Сделаем ладом. Если с ней не хочешь жить, то когда пройдет свадьба, утихнут толки, оставь Арамай. Найдешь подходящую для себя, сделаем новую свадьбу... — Он повернулся к Кажак! молча прося материнской поддержки. — Арамай растит ребенка, она не откажется. Ей тоже надо смыть свой девичий позор.

— Джигиты Кайру начнут потом насмехаться над тобой, что на такой женился. — Аткир смотрел то на мать, то на дядю. Они в свою очередь тоже посмотрели друг на друга и понимающе кивнули друг другу. — Может быть, ради того, чтобы смыть свой позор... — нерешительно сказал Аткир.

— Ну и хорошо, это идет! — обрадовался Урмат и подошел к Аткиру. — Учись жить у дяди! — Он притянул племянника к себе. — Арамай очень работающая, — зашептал он. — Ты на внешнюю красоту и на возраст не обращай внимания. Как работает — вот что главное. Если женишься на Арамай, и мать немножко отдохнет. Кроткая,

уважительная жена будет. Будет доить коров, шить. Чистым будешь, теплые одежды сошьет она тебе. Вот таков мой метод, племянничек.

Такой двухступенчатой была свадьба у Аткаыра. Можно сказать, когда сторела первая ступень Аткаыровой любви, начала работать вторая.

Все, что случилось, труднообъяснимо. Жизнь движется своими тайными путями...

Так братишка нашего друга и предводителя Борбок-Кары стал уважаемым зятем табунщика Яры. Если бы Яра заранее знал, что Борбок-Кара в будущем станет деверем его, конечно, не бил бы его по голове и голой спине, оставляя бугристые следы. Следы его чумбура должны были бы лечь на мою голову за мой обман. Что теперь сделаешь, то было давно...

Аткаыр и Арамай до сих пор живут мирно и дружно. Есть у них и внуки, и не все дети их еще вышли замуж и женились. Детей у них много. Какими путями пойдут их любовь и судьбы — пока никому не известно.

Эй, великая жизнь, ты бы объяснила и подсказала, что такое любовь, что за сладкое и горькое это чувство?..

Странная любовь двух братьев, Борбок-Кары и Аткаыра, к двум сестрам до сих пор удивляет меня, и до сих пор я не могу разгадать ее загадок...

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ — рассказ о тревожной ночи

В больнице я пролежал месяц. Выписываться было еще рановато, но у жены подошло время родов, и меня отпустили с условием, что дома я еще полежу, полечусь.

Как мы с женой ждали дочку! Мечтали, вот она родится, подрастет, порадует первыми шагами, смешными словами. У нее на головке будет белый бантик. Будет дочка черноголовой, похожей на мать...

Вернувшись домой, я уже на завтра проводил жену в роддом. Хлопоты, а потом томительное ожидание вымотали меня.

— Как там, кто у нас родился? — не раз звонил я в роддом, беспокоя медицинских сестер.

— Пока никого нет, — равнодушно отвечали мне. — Ранно еще...

Положив трубку, хотел было отойти, но тут раздался звонок. Слышу голос жены:

— Сейчас же расстегни все пуговицы!..

О, я совсем забыл об этой примете: если расстегнешь на всех вещах пуговицы, роды облегчатся.

Так уж устроен человек — в критический момент верит всему. Я не только пуговицы, все узлы на всех своих галстуках развязал.

Опять жду, какую же новость сообщат из роддома. Ведь новый человек на свет появляется. Это не шутка.

— Как там, родился кто или нет? — звоню дежурной сестре.

— Поздравляю вас сердечно! — отвечает она радостным голосом. — Поздравляю с рождением сына! Крепкий парень — три триста! Еще раз с сыном!..

Опять родился сын. Третий сын. Стал я теперь отцом трех мужчин!.. Ну что ж...

Тороплюсь, кладу в сумку банки с компотами, молоко, какую-то еду. Мужчина есть мужчина. Оставшись один, он не знает, что делать по дому. Старший сын уехал в Москву: у него начались занятия в институте. А средний сын в походе. Зная, что мне еще нужна помощь и что вот-вот появится на свет новый член нашей семьи, сын отказывался идти, но они так давно собирались классом в этот поход и так хотелось пойти сыну, что мы с женой настояли, чтобы он обязательно отправился с ребятами. Поэтому остался я в квартире совершенно один. Сын вернется завтра к вечеру, а сейчас он, наверное, распевает песни у костра и не знает, что у него есть теперь еще один брат...

Отнес жене передачу. Через дежурную сестру попросил, чтобы жена написала записку, что ей еще надо и что мне делать.

Ближе к вечеру, когда за окном стояли уже осенние сумерки, я решил справиться о жене и сыне. Набрал знакомый номер... О великий бог! Сестра, уточнив мою фамилию, сказала такое, что я выронил трубку. Нет, она не слова сказала, а выстрелила в меня. По всему телу будто прошел сильный ток — я потерял сознание!

Когда пришел в себя, казалось, что все кругом рушится, весь мир несется в какую-то пропасть. Стены квартиры стали сумрачным стеклом, и видно сквозь него, как туманные сумерки кружатся и тонут в темноте. Ни ногой, ни рукой не шевельнуть, отнялись, что ли?.. Вдруг слышу: «Кыин-кын». Подумал, что где-то далеко плачет ребенок. Я похолодел. Плач по-прежнему продолжался. Кто-то плачет, зовет на помощь.

Вдруг я догадался, что не положил на место телефонную трубку и теперь в темноте раздаются ее сигналы.

Что произошло со мной?.. Я отчетливо услышал тот самый проклятый голос дежурной сестры: «Это вы? — спрашивает фамилию. — Ваш мальчик только что скончался, а жена... жена находится в очень тяжелом состоянии...»

Что там случилось?.. Только недавно, днем, было все хорошо. Что мне теперь делать? Кто мне поможет?

Вскочил я, и тут же показалось, что кто-то ослепительно яркий фонарик направил мне в лицо. Не выдержал я и закрылся ладонями. Что это, кто светит? А может быть, это вовсе не свет, а темнота? Нет, это что-то другое. Передо мною возникло доброе лицо знакомого человека. Это... это Ольга Петровна, мой врач. Она мне поможет!..

Я встал, включил свет и набрал номер домашнего телефона Ольги Петровны. Как хорошо, что она дома. Услышав мой взволнованный голос, выяснив все, что произошло, сказала: «Подождите, сейчас проверю».

Ярко горят лампочки в моей квартире. Я зажег их во всех комнатах. Но кажется, что покрыт я черным одеялом прежних сумерек. В теле какая-то тяжесть. Неожиданно кто-то отчаянно закричал. Я со страхом вскочил. Кто это так надрывно кричит?.. Это телефон кричит, а я не могу поднять трубку. Смотрю на него, а он на глазах вдруг превращается в черную кошку с зелеными глазами. Закрываю руками уши, чтобы не слышать. Теперь аппарат говорит голосом той медицинской сестры: «Это вы? Ваш сын только что скончался, а жена... жена в очень тяжелом состоянии...»

Сколько прошло времени — не знаю. В квартире снова мертвая тишина. Ни единого звука. Я вскакиваю, быстро одеваюсь и бегу вниз по лестнице, а во дворе вижу какую-то машину.

— Куда вы бежите? — останавливает меня Ольга Петровна. — Все неправда. Медсестра напутала. Жив ваш сын и жена здорова. Куда вы рветесь? Говорю же, что все хорошо...

Будто не узнаю Ольгу Петровну, смотрю на нее удивленными глазами, ничего не могу сказать.

— Час поздний, — слышу голос Ольги Петровны. — Вас не пустят сейчас в родильный дом. Успокойтесь, я все вам расскажу и объясню.

Мы поднялись на пятый этаж и зашли в квартиру. Она, войдя в дом, отдышалась и, посмотрев на меня голубыми глазами, улыбнулась;

— Я вас от души поздравляю еще с одним сыном! — Она протянула мне свою небольшую ладонь. А я ничего не могу ответить, тупо смотрю на нее. Ольга Петровна опять повторила: — Вы успокойтесь. Дежурная сестра перепутала. Все у вас хорошо.

Я не могу этому поверить. Ольга Петровна, понимая мое состояние, продолжает терпеливо объяснять. Она сама съездила в родильный дом, видела мою жену, говорила с ней, посмотрела на сына моего и оттуда позвонила мне домой, а я не поднял телефонную трубку. Пока она все это мне рассказывала, опять раздался телефонный звонок. Я рванулся к телефону, но опять остановился, испугавшись.

— Берите, берите трубку, звонит ваша жена, — говорит Ольга Петровна. — Я договорилась, она должна звонить... Все же я не решался. Она сама подняла трубку:

— Это я, — ответила она, — Ольга Петровна. Да, тут, дома. Не верит. И потому не подходит к телефону. Ну, подойдите же, поговорите сами. Все нормально. Только недолго...

— Я поздравляю тебя с сыном, — слабым голосом сказала мне жена. — У нас все в порядке, не волнуйся...

Ольга Петровна улыбнулась, когда я повесил трубку:

— Порядок? Успокоились? — И вдруг заинтересовалась: — Есть у вас в доме кофе? Дайте-ка, я сварю...

Почти до утра я не мог уснуть. Иногда чудилось, что опять кто-то звонит и сообщает мне о смерти сына. Голову накрыл одеялом, старался уснуть, но все равно ничего не получалось. Тень страха появлялась и стучала в окно, говорила голосом сестры: «Что вы лежите, умер ваш сын. Умирает ваша жена...» Наконец стали серыми окна. Я забился в полусне.

Опять зазвонил телефон. Я испуганно дернулся. Потом вспомнил вчерашнее и торопливо поднял трубку.

— С добрым утром, отец! — слышу ласковый голос жены. — Мы хорошо переночевали. Сын передает тебе привет. На кого похож?.. Конечно, на тебя, на кого же еще...

Сейчас маленький мой человечек, сын мой, и жена уже дома.

В один из обычных дней раздался звонок в нашей квартире. Взяв трубку, я сразу же узнал голос своего врача.

— А-а, якшилар-здравствуйте, «Солома волос, ресниц синева»!.. Как поживаете, в гости просим...

— Как назвали сына?

— Зовут его Темир, — докладываю ей. — А почему именно так, объяснить пока не могу.

Так появился на этот древний свет мой третий сын. Он родился в тот год, когда не стало моей матери. Постоянно помня и горюя о ней, я написал «песни любви и печали о материнском сердце». Вот одна из тех песен:

Мама, на этом свете продолжают качаться колыбели,  
Шьются опять мягкие, новые пеленки.  
Горы белеют. Волны морей беспокойны, как всегда,  
Вырастают травы, зеленеют просторы.

Мама, был у меня брат Темир,  
Красоту мира не увидев, ушел он насовсем.  
Ночами я кричал и плакал: «Темир, Темир!» —  
Днем среди мальчишек его не находил.

Мама, утром сегодняшним по-новому восхищаюсь:  
Еще один сын мой появился на земле.  
Чтобы он жизнь прожил за моего брата,  
Сыну дал я его имя.

Может быть, эту мою новую книгу когда-нибудь прочтет хороший врач и женщина с прекрасным сердцем, поймет, почему дал я такое имя своему младшему сыну, и, возможно, вспомнит ту тревожную ночь. Вспомните и будьте счастливы всегда, дорогая Ольга Петровна!

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ, в которой еще раз необходимо вспомнить о русском хлебе дедушки Папая и о возвращении Борбок-Кары из армии

По звонку в дверь я сразу угадал, что это кто-то посторонний. Наши так долго и беспрестанно не звонят. Открыла жена: ее с сыном накануне выписали из роддома. Я узнал гостя по голосу: появился Борбок-Кара.

— Сюда, сюда, проходи, Борбок-Кара! — кричу я, приподнявшись с постели: я опять занемог, сказались все волнения.

Когда я выписался из больницы, он еще лежал. Недавно ведь говорят: пришло горе — открывай двери шире. Удивительное дело: Борбок-Кара почти вылечил свой остеохондроз и собирался уходить, как он сам говорил, «из курорта», а тут зашевелился его аппендицит. Сделали опера-

цию. Видно, болезнь как найдет однажды человека, начнет атаку на него и долго не отпускает. А может быть, Борбок-Кару поберегла судьба: пусть, мол, заодно вылечит и другие свои болезни. Ведь если бы приступ случился в урочище Кайру-Бажи, куда бы он пошел?..

И вот Борбок-Кара сидит в моем доме, рядом со мной.

— Ты очень плохо выглядишь, парень, — заметил он. — А я выздоровел, стал как бык. Наверно, до меня дошли благие пожелания моих овец, — смеется он. — Они ждут не дождутся моего возвращения...

Жена моя принесла и поставила около кровати низенький столик с угощениями. Когда она вошла с графинчиком водки и по алтайскому обычаю преподнесла его Борбок-Каре, тот удивленно посмотрел на нее взглядом другого Борбок-Кары — хитрого и коварного.

— Нет, милая, водку свою подальше убери, — сказал он. — Когда болеет друг, как я позволю себе пить?! Неужели я совесть потерял?

— У нас сын родился, — говорю ему.

— Вот это по-литика! — воскликнул он. — Как говорится в народе, человек перед прыжком в старость может еще стать шаманом, так и вы... Коль так, — улыбнувшись, Борбок-Кара бережно, соблюдая обычай, двумя руками взял графин из рук жены, — не откажусь. В этой политике есть большая причина.

Он налил в пиалу водки, пригубив, поставил на стол и сказал:

— Значит, говоришь, у тебя три сына. А у меня нет детей...

— А у Аткира сколько детей?

— О! Полная юрта...

В это время я вспомнил, как Борбок-Кара вернулся из армии, и о русском хлебе деда Папая.

...Тогда Борбок-Кара заехал в город и пришел ко мне. А я уже был настоящим взрослым парнем — учился в седьмом классе и было мне семнадцать лет. Жил я в интернагском общежитии.

Был осенний вечер, когда ребята привели в нашу комнату Борбок-Кару. Я, конечно, обрадовался, поздоровался с ним за руку. Вижу, другим стал мой друг.

В серой солдатской шинели он показался мне высоким. В кирзовых, новых сапогах. На голове высокая фуражка. Не понравился лишь его брезентовый ремень.

В то время была мода у нас — показывать гостям свой

альбом. У всех учеников, живущих в интернате, были альбомы с фотографиями друзей. Среди ребят были даже свои фотографии.

Мы с Борбок-Карой смотрели мой альбом, вспоминали Кайру, земляков. На одной фотокарточке я был в галстуке. Борбок-Кара, увидев этот снимок, как-то странно посмотрел на меня.

— Ба, когда же ты успел стать коммунистом, Барыс?!

Что я ему объяснил тогда и как вышел из этого смешного положения, конечно, сейчас не помню. Борбок-Кара, видно, думал, что тот, кто носит галстук, член партии. Не знаю, думает ли он сейчас по-другому или же по-прежнему — я не поинтересовался. Как-то неловко...

Потом мы пошли к Паше. Он тоже жил в городе. Паша не пропустил в занятиях ни одного года и теперь поступил после семилетки в медучилище.

— Хочу посоветоваться с Пашей и с тобой об одной большой по-литике, — по пути сообщил мне Борбок-Кара. — Ай, жизнь, жизнь — какая трудная по-литика!..

— Может, я один могу помочь тебе, а? — поинтересовался я.

— Нет, надо думать вместе, — не согласился Борбок-Кара. — Ты даже догадаться не можешь, Барыс. Большую и очень серьезную по-литику хочу сказать. О ней надо мозговать вместе с Пашей. Три головы всегда находчивее, чем одна моя или твоя.

Увидев Борбок-Кару, Паша обрадовался так же, как и я. Теперь мы смотрели Пашин альбом. В его снимках мы не обнаружили, чтобы он был снят в галстуке. Но в альбоме Паши Борбок-Кара увидел другое достоинство:

— У тебя, оказывается, много девушек, Паша, — он шуточно ткнул его в бок. — Ай, сколько девушек! Хм-хм... — Он закрыл последнюю страницу Пашиного альбома и предложил: — Если вблизи есть чайная, то пойдемте, почаюем втроем.

Мы, конечно, тут же согласились, обрадовались, поскольку тогда мы постоянно ощущали голод и не умели отказываться от еды.

— Когда приедешь домой, из-за тебя, наверное, девушки будут драться, Борбок-Кара, — пошутил Паша. — Ты стал не хуже того оймонского Максима в красных сапогах!

— Нет, парни, — сказал Борбок-Кара, хитро улыбаясь, — сейчас в моей голове другая по-литика живет. Какая по-литика, спрашиваете?.. Не торопитесь.

Мы пришли в чайную, купили по два стакана горячего чая и по два пирожка. Борбок-Кара, заплатив за все это, сел рядом с нами и теми же хитрыми глазами посмотрел на нас.

— Дело вот какое, — заговорил он полушепотом, — вы оба должны крепко подумать и сказать мне... — наш друг-солдат был серьезен и все усиливал наше с Пашей нетерпение узнать, что же за «по-литика» его мучает. — Пусть этот чрезвычайный вопрос останется, парни, между нами. Секрет и по-литика, поняли? — предупредил он. — Вот какое дело, парни, будущие воины: в нашем Кайру или в Ело найдется ли хоть одна девушка, которая умела бы по-русски печь хлеб, а? Подумайте не торопясь и скажите мне.

Понять и узнать Борбок-Кара со всех сторон трудно. Иногда мне думается, что он подобен осенним дням: лицо — словно пасмурное, черное небо. А иной раз он — как солнышко весной: весь светится и сияет.

Ай, Борбок-Кара, Борбок-Кара, скажи-ка, кто ты есть?

Вот он сидит в моем доме. Только что печалился, что кудай-бог не дал ему детей. Вдруг, угощаясь и разговаривая с нами, стал совсем другим человеком. Вижу, в его круглых глазах появилась добрая тайна. Может быть, он понял, догадался, что я вспоминаю те далекие от нас годы и печальный случай, связанный с русским хлебом дедушки Папая?..

— Я хочу спросить и узнать от тебя об одной очень интересной по-литике, Барыс, — хитро прищурился он.

— Говори...

— Откуда люди знают, что человек думает только головой, а? — Он смотрел на меня испытующе. — А вдруг он думает ногами, а? — Борбок-Кара так громко засмеялся, что жена испугалась, что проснется ребенок, и торопливо ушла к нему.

— Ты видел человека без головы? — смеюсь я в свою очередь и на вопрос отвечаю наивным вопросом. — Ты вспомни Токтона, его «немецкую» ногу... — я осекся.

Лицо Борбок-Кара покрылось грозowymi тучами: назвав имя Токтона, я задел его старую рану. Мне стало неловко. Как-то надо было поправить свою ошибку, но ничего не приходило в голову. От затянувшегося молчания я испытывал еще большую неловкость.

А Борбок-Кара есть Борбок-Кара. Некоторое время он сидел молча, сопя и шмыгая носом. Потом, будто ничего не было сказано, продолжил свою «по-литику»:

— В твоих словах есть зернышко правды, — как-то уклончиво и с сомнением сказал он. — Я ведь нарочно сказал о том, что человек, возможно, думает ногами. А вот теперь серьезно спрошу: может быть, человек думает сердцем? — При этом он ткнул себя в грудь слева указательным пальцем. Потом, указывая этим пальцем на потолок, как бы давая понять, что там, над нами, сидит бог, победоносно и громко изрек: — Жизнь — это есть большая политика, помни об этом всегда! — И опять: — Если вынуть сердце из груди человека, он не сможет жить ни одного часа! Тебе встречался человек, не имеющий в груди сердца?..

Откуда у него такие странные мысли, как к нему пришли? Возможно, когда он лежал в больнице, то соседи его по палате говорили примерно об этом, о смерти и бессмертии человека?.. А у него-то: жизнь — сердце — способность думать?! Ах, Борбок-Кара, решил козырнуть передо мной своей мудростью?

— Сердце и голова человека похожи на влюбленных, — сказал я. — У них одно дыхание, жизнь и душа общие, связаны навеки...

Борбок-Каре эта мысль не понравилась. Он решил, что я вновь напоминаю ему о его первой любви.

— Жена моя ничуть не хуже Чомый! — резко и гордо заявил он. — Подумаешь, Чомый!.. Только и знала, что рожать каждый год. Она, как моя жена, даже не умеет печь душистый русский хлеб! Мне она не пара. Тогда я был глупым мальчишкой, потому и бегал за этой дурой, потеряв голову.

...Когда Борбок-Кара спросил нас с Пашей о девушке, умеющей печь русский хлеб, мы недоуменно уставились на своего предводителя.

— А что, русский хлеб должен есть только Папай, так, что ли? — наш друг искренне обиделся. — Находясь на службе, я забыл вкус алтайского сырчика-курута. Привык питаться только русским хлебом. Моя жена должна уметь печь русский хлеб, запашистый и теплый русский хлеб! Теперь я человек культурный! Вот, парни, с такой новой политикой еду домой. Если найду жену, которая умела бы печь русский хлеб, я к себе позову дряхлого деда Папая, хорошенько угощу его хлебом, а после отомщу ему за его подлость своим судом. Пусть знает, как крутить уши!..

Ах, Борбок-Кара, Борбок-Кара, это ты хорошо запомнил, а помнишь ли ты, кто научил тебя охотиться? И так ли уж тебе было больно? И разве была эта наука беспо-

лезна? Думал ли ты когда-нибудь над этими вопросами?

Сидя в чайной, мы с Пашей перебирали всех знакомых девушек, молодых женщин, кого бы из них предложить Борбок-Каре в жены. А он не торопил нас, терпеливо ждал.

— Может быть, еще принести по стакану чая и по пирожку? — предложил он. — Хорошо думается, когда перед тобой стоит горячий чай.

— В нашем Кайру нет ни такой девушки, ни такой женщины, — был наш с Пашей ответ другу.

— Вы не спешите, еще подумайте, а я принесу чай.

Но и новая порция чая и пирожков не изменила итог наших размышлений: у нас не было подходящей жены для Борбок-Кара ни в Кайру, ни в Ело.

— Может быть, мне поехать в деревню Туякту, поискать жену там? — советовался с нами наш предводитель. — Ведь в Туякту с давних времен живут и русские и алтайцы. Там, конечно, найдется подходящая девушка.

— А-а! — Паша вдруг вспомнил кого-то и посмотрел на друга. — Только ты, Борбок-Кара, наверное, не согласишься и даже рассердишься, если я назову женщину, которая умеет печь вкусный русский хлеб.

— Почему? — разволновался наш предводитель. — Говори скорее, кто она, где живет?

— Она работает в Ело. Крещеная полуалтайка.

— Язык не имеет костей, скажи, Паша, хочу знать, кто она такая? — нетерпеливо потребовал Борбок-Кара.

— Дора, — назвал Паша, — ее зовут Дора...

— А-а-а, — громко и долго затянул Борбок-Кара. Наконец он, видимо, вспомнил эту Дору и посмотрел на Пашу потеплевшими глазами. — Ты говоришь о женщине, которая работала на племенном пункте, да? Я помню ее. Да, она действительно культурная...

— Но, Борбок-Кара, она же лет на пятнадцать старше тебя!..

— Возраст — это по-литика совсем другая, — наш друг встал, поправил ремень и надел фуражку. — Сколько лет я должен жить один, а, парни? У Аткыра и то уже дочь, хоть и чужая, а я все один. — Он улыбнулся нам, поднес правую руку к виску, встал навытяжку и сказал: — Любовь — это непростое дело, парни! Это — по-литика!..

Борбок-Кара уехал домой. А через какое-то время до нас дошел слух, что он женился на той самой Доре, которую подсказал ему Паша, что состоялась большая и славная свадьба, на которой гуляли жители Кайру и Ело.

Услышав такую новость, мы с Пашей диву давались: как же должен был запасть в душу и память нашего друга хлеб дедушки Папая, если он, чтобы наслаждаться душистым русским хлебом из золотистой алтайской пшеницы, женился на Доре?!

Голод... Голод в разное время бьет нас, людей, по-разному. Иногда берет за горло, а бывает — за душу. Голод всевластен и хитер. Как убить его? Как, если он почти бессмертен?!

В годы детства мы страдали от физического, реального голода войны. Теперь же у голода новый лик, новый образ — голод на вещи...

Современный человек, посмотри, оглянись: ничего тебе не напоминают твои меньшие братья? Взять, к примеру, корову. Она зимой скрипит зубами, мычит и просит сена. Так мычит, что душа у человека разрывается. А как только ее покормишь хорошо ипустишь к стожку под навесом, она от сытости начинает топтать его, бодать. Осенью сытые коровы, взбрыкивая, бодают и сваливают, разбрасывают копны на полях. А зимой опять: мо-то, мо!.. му-му-му!.. Не так ли поступаешь и ты?..

...Сегодня Борбок-Кара сидит в моем доме. Ай, Борбок-Кара, ай, Борбок-Кара, ты не случайно встретился мне в больнице. Разве мог я без тебя вспомнить наше детство, радости его и трудности?..

Все мы — и ты, Борбок-Кара, и твой брат Аткыр, и Паша, и Метирей, и я сам — выросли без отцов. Теперь мы сами отцы. Хозяева Алтая и алтайской юрты. Хозяева собственного очага, горящего в нем огня.

Паша сегодня — ветеринарный врач. Живет в городе. Руководит большим отделом. А наш Метирей — строитель. Есть ли лучшая профессия, чем строить дома своим родичам и землякам?.. Аткыр и ты — совхозные пастухи. Все мы занимаемся своим любимым делом.

Но нет теперь среди нас вашей матери — тетушки Кажак-кай, и нет матери Паши — доброй тетушки Тообос, и моей матери не стало в этом подлунном мире. И нет красавицы Кыйгас...

Наши матери, лишившись так рано своих мужей, всеми силами старались поставить нас на ноги. Они терпеливо и

достойно выдержали все трудности, тяжелые испытания безжалостной судьбы. О наши дорогие, милые матери, куда мы видим синеву этого синего Алтая, белизну нашего белого Алтая, цвет зелени родного нам зеленого Алтая, куда радуемся всем краскам нашего прекрасного Алтая, мы никогда, никогда не забудем вас!

Кайру — небольшое горное селение. Оно не отмечено ни на союзной, ни тем более на мировой карте. Но из этого села на великую войну уехали десятки мужчин. Они навеки остались живыми в глубине сердец наших матерей, сестер и братьев, в наших сердцах. Они — наша общая и неутешная боль, незарубцованные раны и горе всех сердец нашей доброй земли.

Вот сидит Борбок-Кара и, глядя на меня, думает о чем-то. А я, думая о судьбах наших отцов и братьев, вдруг говорю ему:

— Хочешь послушать, прочту тебе стихи одного своего друга?

— Стихи?! — удивился Борбок-Кара. — Ты только и думаешь об этих стихах. Разве они помогут жить?

Но я не послушался своего гостя. В этот самый момент мне почему-то очень захотелось высказаться строчками стихов.

Мне не хватает одной улыбки,  
Мне не хватает одного рукопожатия  
Человека, которого я любил.

Двадцать миллионов улыбок,  
Двадцать миллионов рукопожатий  
Навсегда унесла война...<sup>1</sup>

Борбок-Кара остался равнодушным к стихам. Он сообщил мне, что купил уже билет на автобус домой. Который раз я опять замечаю внутри его небольших глаз второго Борбок-Кару. Он на меня смотрит издали.

— Нет, все же в тебе я вижу тени острой боли, — говорит он, — плохо отходит от тебя болезнь. Гляжу на твое лицо и боюсь. — Борбок-Кара бесцеремонно напоминает мне о болезни. Вдруг, переменив тему разговора, он вспомнил о моей матери: — Мать твоя была очень хорошая. Жаль, не проводил ее в последний путь. Поздно услышал. Тайга...

Слушая его, я искренне подобрел к нему. Хорелый че-

---

<sup>1</sup> Кондаков Г. «Олений камень». М., «Советский писатель», 1980.

ловек Борбок-Кара: светло думает о моей бедной матери. Есть у него душа, есть сострадание к человеческой боли и утрате.

— Ну, Барыс, до свидания, — он протянул мне свою мясистую, крепкую ладонь. — Кто знает, друг, может быть, больше не придется нам встретиться...

А я, прощаясь с ним, хотел сказать: вот скоро совсем выздоровею, и обязательно приеду в Кайру, и дальше поеду, в Кайру-Бажи, где работали наши матери. Может быть, сядем на коней, проедем по тем местам, где в детстве охотились за сусликами и кротами, посмотрим на те поля и горы, где пасли коров, телят, колхозных коней. Как было бы хорошо, если б позвать Пашу, Аткира и Метирея!.. Нет, Борбок-Кара, отныне мы все чаще и чаще будем встречаться. Ты снова станешь нашим другом и вождем. Нас никто разлучить не может!..

Но вождь вдруг погасил мои светлые и добрые намерения. Неужели он сделал это специально? А может быть, невольно так получилось, а?..

— Ну, до свидания, — снова повторил он и пошел к двери. У порога обернулся: — Ну что ж, — сказал, глядя на меня маленькими насмешливыми глазами, — прости, и на твои похороны не смогу прибыть, коль надумаешь отправиться на тот свет... Опять услышу поздно.

Ай, Борбок-Кара, Борбок-Кара... Что можно сказать тебе после этого? Как с тобой поступить?.. И скажи мне, кто ты, Борбок-Кара?

Только я уверен, все равно ты эту книгу не прочтешь и не подумаешь о разных судьбах наших земляков — наших родных и друзей...

Ай, Борбок-Кара! Прощай и прости меня, Борбок-Кара!

Нет, я все же рад, что через много лет встретился с тобой и вспомнил наши далекие стойбища и вечно дорогих мне людей...

## До смерти еще далеко

Майну летел над облаками.

Он не слышал ни рева, ни гула мощных двигателей самолета. Перед ним словно распахнулись другие миры, и Майну ощущал лишь, как неровно и часто где-то глубоко-глубоко бьется его сердце... Он будто и не жил сейчас. Лишь сознание его, неясно и зыбко, улавливало отдаленный трепет жизни — ее размеренную поступь, ее неумолимо крутые дни, неожиданные удары и повороты в пути, а за теми поворотами, снова и снова, одинаково скоро проходящие радости и печали.

Высоко над облаками, в беспредельной синей бездне, не самолет мчал его — сама жизнь влекла вперед и вперед. Жизнь, как самый первый и самый могучий прорыв зелени по весне, одинокая всюду — и на земле, и здесь, в заоблачной выси. Ее не окинешь взглядом, жизнь, она бескрайняя. Но среди многоликой, нескончаемой пестроты, кажется Майну, тянется, тянется тоненькая нить — тоньше конского волоса. Ниточка эта то петляет, то туго натягивается — вот-вот порвется! — то убегает, совсем истончаясь, вдаль, а по ней, балансируя и вихляясь, так же неровно и нескончаемо тянется участь Майну, его судьба.

Майну убежден: в этой круговерти есть его собственные пределы, его «максимумы», которые он должен крепко держать в руках.

На земле — все проще. А сейчас, в полете, он вдруг как бы очутился над жизнью... Нет, она тут, она продолжает-ся, она цепко держит его. И Майну ни за что не допустит, чтобы оборвалась эта нить...

Стоило ему отвлечься от путаных, рваных и невнятных раздумий, как в уши ворвался басовитый рев реактивных двигателей, и мысли стали наматывать совсем другой клубок — больших и малых житейских дел, которые ему предстояло решить в ближайшее время, в которых он, Майну, должен был непременно разобраться.

Так же неровно и часто билось сердце. Словно в улье, гудели, роясь, мысли-пчелы.

Самолет стремительно нес Майну на запад.

1

Соседом и лучшим другом Майну был Багыр. Ровесники, они играли вместе, на охоту за сусликами — вместе, телят пасти — тоже вдвоем. Водой не разольешь! До того самого дня...

Это было летом сорок третьего, в пору сенокоса. Майну и Багыр играли на вытоптанной людьми и скотом тропинке между аилами в бабки. Ставили поочередно на кон кости и кидали по ним гладкими каменными плитками-битками, стараясь с маху расшибить всю шеренгу бабок. Счастье улыбалось то одному, то другому, и бабки — самое большое богатство для мальчишек — переходили из рук в руки. Друзья бегали сломя голову, кричали, ссорились, хохотали, дразнились, вывозились с головы до ног в пыли. Потные, чумазы.

Увлеченные игрой, они не видели, когда к ним подошел солдат, а заметив его, побросали бабки и уставились на незнакомца.

На вылинявшей и темной от пота гимнастерке солдата тускло поблескивала медаль — большая, на серой ленточке с синими полосками по краям.

Склонив голову к левому плечу, солдат молча, сверху вниз, смотрел на мальчишек единственным глазом. В том месте, где полагалось находиться второму, пугающе зияла глубокая прорезь, от которой до самого уха резко ломался след красновато-лилового шрама. В этой вмятине лишь угадывался неповрежденный зрачок.

Он был высокий, солдат. Не только потому, что так казалось мальчишкам, — на самом деле. И голенища его сапог были длинные-предлинные, так что широко расставленные ноги солдата походили на сажень, которой мерили у них в деревне поля и покосы. Небольшая, коротко стриженная голова чернела где-то там, почти в поднебесье. Во всем остальном солдат был человек как человек. Руки, правда, прямые, как палки. А лицо — мягкое, доброе, вот-вот улыбнется...

Солдат все так же молча наблюдал за смущенными ребятишками. Медленно, как ранняя заря, на его лице всходила улыбка.

— Кто из вас Багыр? Кого звать Багыром?

— Вот этого, — Майну острым подбородком кивнул на своего дружка.

— Балам! Багыр! — вдруг закричал солдат и, сделав два или три прыжка длинными своими ногами, подхватил Багыра, легко подбросил его высоко над головой, поймал, прижал к груди — грязного, сопливого, мокрого от пота. Снова и снова кидал он Багыра вверх, ловил вытянутыми палками-руками и крепко прижимал к себе.

Майну стоял в сторонке и терпеливо ждал, когда наконец солдат отпустит Багыра и точно так же схватит его и станет так же высоко кидать, ловить и ласкать, прижимая к груди. Напрасно ждал... Этого не случилось. Он был отцом Багыра, этот солдат, и ничьим больше.

Отца Багыра звали Сулатаем. А как звали отца Майну, он не знал и никогда над этим не задумывался. Этот вопрос еще не колол острее иглы его сердце, не высекал из его глаз слезы до того дня. Не было до того же дня у Майну ни к Багыру, ни к кому угодно вообще ни зависти, ни ревности. Ведь пока этот солдат откуда-то не появился, у Багыра тоже не было отца. И не только у Багыра — у многих ребятишек из Кайру. Кого ни возьми — нет отца! Зачем тогда и Майну отец? Разве у него нет матери?

Мать Майну — Дыламаш Кыпчакова — конечно же лучше всех.

Рано-рано поднимается она каждый день. И первым делом донт Белую Корову — это такая кличка у их единственной коровы, на самом деле совершенно белой, без единого пятнышка. Потом мать дает Майну парного молока, а сама делает сыр-быштак. Большой и круглый, он дышит, исходя теплым душистым паром. Мать обрезает кромки у сыра и, поглядывая на Майну, спрашивает:

— Тебе какой быштак? Двумя руками держать или одной?

Майну знает эту хитрость и ни за что не скажет: «Двумя». Если он попросит быштак в обе руки, мать отрежет длинный тонюсенький кусочек, похожий на собачий язык. Его и не ухватишь — он тут же переломится и шлепнется на земляной пол аила. Майну не жадный. Он протянет одну руку, спрятав другую за спину. Тогда мать отхватит кусок потолще и потяжелей. Если съесть его с чаем, до самого обеда будешь сыт. А в обед Майну съедает другой кусок, который мать оставляет ему, уходя на сенокос. А вообще-то мать только шутит. Ну даст она ему узенькую

ленточку сыра в обе руки, а после все равно накормит до-  
сыта. Так что это просто игра, по оба они — и Дыламаш  
и Майну — делают вид, будто все это всерьез.

Вечером, когда мать возвращается с поля, она снова  
донт Белую Корову — Ак-Уй.

Майну всем доволен. Вот только теленка караулить,  
чтобы не высосал молоко у коровы, — занятие не из са-  
мых приятных. За этим теленком не углядишь. А если про-  
моргасшь, — такое случается, и нередко! — тогда не жди  
ни парного молочка, ни сладкого сыра-быштака. Но не в  
этом беда. Беда, когда мать схватит тонкие таловые прутья  
и пройдет хлестким пучком по мягкому месту Майну. Се-  
чет мать от души, больно, однако ожидание неминуемого  
наказания большей порки. Впрочем, прутики «играют» не  
по одному Майну. Если Багыр подпустит телка к своей  
Неструхе, будет то же самое, и прутья будут плясать по  
заду друга, и тот станет орать что есть мочи, словно его  
убивают. Майну не раз слышал рев Багыра. Сам-то он не  
орет, когда его лупит мать. Разве совсем немножко...

Короче говоря, до этого дня Майну и Багыр ничем друг  
от друга не отличались. И стоило только появиться сол-  
дату, как все на свете перевернулось.

— А ты чей будешь? — опустив на землю Багыра, Сула-  
тай весело подмигнул Майну здоровым глазом.

Майну, сам не понимая отчего, застеснялся, потупил-  
ся и промолчал. Он шевелил грязными пальцами босых  
ног, шмыгал носом и молчал.

Есть у нас, у алтайцев, загадка: «Что растет быстрее  
травы?» Говорят — листочки. Поэтому всех языкатых и  
болтливых так и дразнят: «Листочек быстрее травы». На  
этот раз «быстрее травы» оказался Багыр. Он ответил отцу  
вместо Майну:

— У Кылдедо нет папы. Он... он... Кылдедо — мой друг.

— Э-э! — засмеялся Сулатай. — Интересное, однако,  
имя у твоего друга. А кто же будет мать Кылдедо?

Майну-Кылдедо круто повернулся на пятках и, не ог-  
лядываясь, пропустил к своему аилу. Лишь отбежав на  
порядочное расстояние, он обернулся и крикнул:

— Ваш Багыр обманщик! Он обманывает!

— Как? — удивился солдат. — Разве ты обманул меня,  
балам?

Сулатай переводил взгляд с Майну на Багыра и про-  
должал смеяться.

— Меня зовут не Кылдедо! — крикнул мальчик, добежав до аила. — Меня зовут Майну. Только Майну!

— Вот как... — Солдат больше не смеялся.

Мальчик озибался, словно что-то искал, и порывисто дышал.

— Я никогда больше не буду играть с вашим Багыром!

Тонко зазвенел его голосок, и за дверью мелькнули босые пятки.

...Волосы у Майну торчат щетинками в разные стороны. Жесткие, как на гриве или хвосте коня. Сколько ни приглаживай их, все равно, непокорные, стоят торчком, топырятся. А сам он шупленький, худенький. Косточки у него хрупкие, тонкие. Потому-то и прозвали его Кылдедо — Волосяные Ножки.

Пока к Багыру не вернулся отец, Майну и внимания не обращал на свое прозвище, ни на кого не сердился, когда его звали так — по-уличному.

— Кылдедо! — звали друзья. — Идем играть в бабки.

Майну мчался играть.

— Кылдедо, не видел нашего теленка?

— Кылдедо, в горы за ревенем пойдешь?

Майну не считал, что прозвище унижает или оскорбляет его, не думал, что ребятишки, да и взрослые, посмеиваются над ним. Он привык к своему второму имени, привычно отзывался на него и не находил в нем ничего обидного.

Если бы в тот самый день, когда они с Багыром играли в бабки, не появился Сулатай, Майну долгие годы еще, а может, и всю жизнь оставался бы Кылдедо — Волосяные Ножки.

Этот день все перевернул. Летний день сорок третьего года.

Над Кайру плавилось от зноя солнце. Мать Майну, как и мать Багыра Карагыс, как все женщины Кайру, была на покосе. Все они воротились из бригады поздним вечером.

Не успела Дыламаш переступить порог, едва только отворила дверь, перед нею у потухшего очага возник, словно тень, Майну и тихо спросил:

— Мама, где мой отец? Скажи...

Словно кто специально подкараулил и ударил Дыламаш.

Она выронила из рук седло и не смогла шагу шагнуть. Так и стояла у порога, пока не собралась с мыслями, не пришла в себя. Буркнула только в сердцах:

— Сынок!..

И снова зазвенел голосок Майну:

— Скажи, кто мой отец?

— Не дури, балам! — рассердилась Дыламаш. — Давай разжигай огонь в очаге.

Она хотела было поднять упавшее седло и прибрать его на место. Как бы не так!

— Отец Багыра с войны приехал...

Майну подбежал к матери, ткнулся лицом в ее живот и, мотаясь из стороны в сторону, залился слезами.

— Я думал, он и меня на руки возьмет... Подбросит... высоко, как Багыра... А он... он... Мама, ну скажи... Чего ты молчишь? Мой отец тоже солдат, да?

За весь долгий день Дыламаш не присела. Только и знала косой махать. Работала, работала, работала... Людей в колхозе мало. А сена сколько надо? Норма большая — семьдесят-восемьдесят соток. Попробуй, скоси! Учетчица знать ничего не знает: отмерит делянку, и хоть стой, хоть падай, умри, но норму дай. Руками ее рви, зубами дергай, проклятую траву!.. Маши косой, шагай прокосом, пока не доберешься на последнем рядке до вбитого учетчицей колышка на конце луговины. Не выполнишь норму, значит, ты — «помощник Гитлера». Никто не хочет верить, что у тебя просто-напросто сил не хватило, — ты «нарочно»...

Надо подоить кормилицу свою, Белую Корову. Надо сварить чай, поужинать вместе с сыном, а потом.. Потом свалиться, ткнуться головой в подушку и забыться сном. Ничегошеньки больше не надо — ни думать, ни разговаривать. Только упасть и проспать до рассвета. Он так рано наступает, летний рассвет...

— Какой тебе еще отец? — похолодел и задрожал ее голос.

Рано или поздно Майну должен был задать этот вопрос. Но сейчас? Что она могла ответить малышу? Что бы он понял?

Не сдержалась. Заплакала. Глухо простонала: «Что за жизнь, что за горе мне!..» Слова ее были пронзительны и остры. Несколько раз шлепнула ладонью пониже спины Майну, приговаривая: «Вот тебе отец! Вот тебе отец! Ты еще будешь мне сердце рвать!»

Не взглянув на сына, упавшего возле все еще холодного очага, громко хлопнув дверью, гремя железным ведром, Дыламаш пошла доить корову.

Тот день, когда вернулся с фронта отец Багыра, а мать сгоряча задала Майну неведомо за что порку, не выветрился у него из памяти. Да и как бы забыл он его, если с того дня и поныне остался без ответа такой странный и такой естественный вопрос: чей же он все-таки, Майну?

С того самого дня родное и дорогое слово «отец» стало враждебным, ненавистным Майну.

Мальчишка стал сторониться людей, особенно приезжих — гостей. Гости народ любопытный. Им зачем-то надо, поприветствовав человека — хоть взрослого, хоть маленького, — узнав о его здоровье, о благополучии в хозяйстве, о приумножении скота, начать выпрашивать, кто он да чей. Вот пустятся выяснять, кто какого рода-сеока, кто чья родня. Будто и говорить больше людям не о чем! Род-сеок, понятное дело, идет от отца. Какого рода отец, того же сеока и дети... Против обычаев не попрешь, всем рот ладонью не закроешь. Вот почему Майну увиливал от встреч-разговоров с людьми, вот почему и слово «сеок» стало ему ненавистным.

Прежде всего крепко-накрепко запомнил Майну, что Сулатай — вернувшийся с фронта солдат — отец Багыра, и ничей больше, что никого, кроме Багыра, не назовет он нежно и ласково: «Балам, дитя мое!» Только Багыра будет подбрасывать высоко в синее небо. Только для Багыра есть у него самое гордое слово «сын».

И еще понял Майну, что красивую Сулатаеву фуражку никто, кроме Багыра, не смеет даже немножко поносить, даже примерить. А какая фуражка! На самом видном месте, как раз на лбу, — красная пятиконечная звездочка! В ветреную погоду Багыр зацеплял за подбородок черный блестящий ремешок, который двумя пуговицами был прикреплен над козырьком, и фуражка не сваливалась с его головы, хотя была ему велика. Не то что ветер, даже другие мальчишки не смогли бы сорвать ее, если Багыр опускал ремешок под подбородок.

К Багыру, после того как вернулся отец, и не подступись. Он — не Майну. У него отец — фронтовик, его все люди уважают. А у Майну только мать. Она похожа на всех кайрунских матерей и никогда не была на фронте. Никогда не носила фуражки со звездой. Нет у нее широкого ремня с медной пряжкой. И медали на серой ленточке с синей каемочкой тоже нет. От других женщин Кайру

Дыламаш отличается разве тем, что редко, очень редко можно увидеть улыбку на ее лице, и глаза ее всегда полны грусти. Если какая-нибудь из кайрунских женщин запечатлится, ей обязательно скажут:

— Откуда это у тебя в глазах грусть, как у Кыпчаковой Дыламаш?

Можно подумать, будто на всей земле и есть один только печальный человек — мать Майну.

В остальном Дыламаш как все. Работает в поле, ходит за Белой Коровой, растит сына. Иной раз в лесу, когда никого рядом нет, поет Дыламаш. Поет каким-то сиротливым, за душу берущим голосом. Такого голоса, вот это уже верно, ни у кого нет. Майну ее голос сразу отличает.

...Где-то жалобно плачет-кукует кукушка.  
Как печально и горько в мире...  
Словно голос ушедших милых  
Болью схватывает наши души.  
Сиротливо-пронзителен голос кукушки.  
Как печально и горько в мире...  
Многих нет на земле милых,  
Вечна память о них в наших душах...

...Да, Багыра, как только отец его приехал, совсем не узнать. Оказалось, ему не только с Майну, а и с другими мальчишками нелегко. Не потому, что на голове Багыра фуражка со звездочкой — ни у кого такой нет. Не потому, что раз или два нацеплял на рубашку медаль Сулатая, тайком от него, конечно, — и все завидовали ему. Багыр во всем хотел походить на отца. А это было трудно, очень трудно.

Вскоре же случилось такое — мимо не пройдешь. Как раз после этого и перестали звать Майну ненавистной теперь для него кличкой Кылдедо, вернулось к нему — и навсегда — его настоящее имя. Единственное. Это совсем не просто — вернуть свое имя. Лучше, чем сам Майну, никто во всем Кайру этого не знает.

Приезд Сулатая прошел в деревне, как ни странно, тихо и незаметно. Во всяком случае, Майну не видел, чтобы отец Багыра ходил по гостям. И сам Сулатай гостей не принимал. В ту трудную пору людям было не до шумных гулянок, но случались в деревне и веселые праздники даже в те военные года. А уж не праздник ли — возвращение фронтовика? Должно быть, сам Сулатай не очень охотился до застолий и пьяных компаний. Больше всего времени проводил он в кузнице, где и до войны работал. Майну, правда, туда не заглядывал, но слышал, как там допоздна

раздавался стук да звон, знал, что отец Багыра хорошо помогает колхозу: много об этом говорили в Кайру. Он бы, конечно, мог вместе с Багыром бегать в кузню — как там должно быть интересно! Но не-ет, Майну теперь не проведешь! Пусть Багыр туда других мальчишек водит или один идет. Лучше не видеть, как он там с отцом нежкается. Да и вообще Майну редко теперь бывает с прежним своим дружком...

Ну, а деревня — она и есть деревня. Все на виду, все на глазах. И случается порой в деревне такое, о чем не думаешь не гадаешь. Как ни старался Майну не встречаться с отцом Багыра, а столкнулся с ним нос к носу.

Кайрунцы, как, однако, и всюду, после вечерней дойки пускают коров с телятами на волю, до самых поздних сумерек. Тянутся со всей деревни коровы со своим потомством на излюбленное место — в зеленый ложок за кузницей. Трава, что ли, там какая-то особенно вкусная? Никуда не идут, только в этот ложок. Многие сами после возвращаются к домам, а за иными обязательно сходить надо. Если не пойдешь, они всю ночь пастись будут и убредут в самый конец ложка — сладкая зелень да еще прохлада после жаркого дня тянут коров.

Ну, а что значит оставить корову на всю ночь с теленком? Считаю, что утром не съешь лакомого мягкого сыра-быштака. А еще это значит, что снова будет больно зудеть от хлестких прутьев где-то пониже спины... Так что рисковать не стоит. Тем более что у Ак-Уй, у Белой Коровы Дыламаш, есть тайная надежда, что хотя бы однажды Майну не придет за ней в зеленый ложок, и останется она на всю ночь со своим милым и ласковым детенышем — таким же беленьким теленком.

Коровьим мечтам не суждено было сбыться и на этот раз. Майну гнал корову из ложка домой, но, сколько ни торопил он ее, Ак-Уй шла медленно, нехотя, словно понимала, что именно от нее зависит нечто совершенно необычное. Корову Майну любил и никогда, ни разу не ударил ее. А вот теленку от него доставалось. И частенько. А что он, непутевый, словно нарочно, наступает своими раздвоенными и уже крепкими копытами на босые, вечно покрытые пылью и цыпками ноги Майну! А то дорвется до вымени матери и сосет, сосет, жадно причмокивая, а Майну тянет его из всех силенок за монче-ошейник. Вот когда начиналась схватка между ними! Теленок ухитрялся то копытом на ногу наступить — ох и больно, аж подпрыгнешь или, наобо-

рот, присядешь! — то, оторвавшись на мгновение от тугих сосков, боднуть безрогой головенкой. За это Майну хлестал его, жадюгу, ремешком, подвернувшимся под руку прутом или обрывком кнута. Теленок прятал башку между ногами, остерегаясь мстительных ударов, задирал жиденький хвостик, забавно мыкал. А Белая Корова молча наблюдала за их поединком.

...Вечерело. Майну подгонял корову, забавы ради небольно подхлестывал прутиком теленка. Вдруг перед ним во весь свой огромный рост предстал неизвестно откуда взявшийся отец Багыра — Сулатай. Понятно, что он как раз в это время вышел из своей кузницы, мимо которой проходил Майну, но мальчишка-то сразу и не сообразил.

— Э! — весело сказал Сулатай. — Я давно гляжу на тебя, Майну.

Мальчик растерялся. Он словно прирос к земле и молчал. Кузнец между тем так же весело продолжал:

— А ты прав, Майну. Знаешь в чем?

Не отвечая отцу Багыра, Майну хотел было шмыгнуть мимо, но Сулатай успел ловко схватить его за руку.

— Нет, ты все же послушай меня, дружок. Знаешь, ты был тогда прав... Никакой ты не Кылдедо, а настоящий эр-мужчина! Хорошее у тебя имя, Майну!.. Знаешь, я еще тогда не поверил, что такого мальчика, как ты, могут звать Кылдедо!

Хотя Майну уже немного успокоился, и ему были приятны слова Сулатая, и даже не хотелось больше вырывать свою руку, которая совсем утонула в огромной и черной от железа и сажи ручище кузнеца, и так хорошо было стоять рядом с высоченным мужчиной и вести с ним взрослый, мужской разговор, что-то сдерживало его, заставляло по-прежнему молча переминаясь с ноги на ногу.

— Приходи, Майну, ко мне в кузницу, — не умолкал Сулатай. — Я тебе покажу, как подковы куют.

Мальчик не поднимал глаз.

Кузнец вздохнул.

— Ну, иди, балам. Мать небось заждалась... — Он уже выпустил его ручонку, но, что-то вспомнив, начал шарить по карманам. — Держи, Майну. Возьми, дружок. Пусть у тебя будут настоящие солдатские пуговицы со звездочками...

Этого Майну никак не ожидал. В его грязной, сухой ладошке тускло поблескивали в закатном свете две желтые пуговицы: маленькая — как глаз щенка и большая — словно ночная луна. Крепко зажав в кулачок эту радость,

не поблагодарив солдата, так и не сказав ему ни слова, Майну припустил за ушедшей уже на порядочное расстояние Белой Коровой и теленком.

А еще через день или два его, как ни в чем не бывало, позвал Багыр:

— Кылдедо! Пойдем играть в бабки!

Дома никого не было. Мать, как всегда, в поле. И соседки на работе, Сулатай в тот день тоже куда-то уехал — то ли в Онгудай, в военкомат (он, говорили, часто стал за чем-то туда ездить), то ли еще куда по своим делам. Мало ли какие у взрослых надобности.

Майну, во всяком случае, не было до этого никакого дела. Чужой отец — пусть ездит, если хочет, куда угодно, пусть уезжает, приезжает, дома сидит, в кузне работает... Майну-то какая забота? Но вот: «Кылдедо! Пойдем играть в бабки!» — явился Багыр.

— Как ты сказал? Кто я? — вдруг разозлился Майну и, перехватив обеими руками Багыра поперек туловища, повалил его на землю.

Дальше дело пошло быстрее.

— На тебе — Кылдедо! На тебе еще! На тебе — фуражку! На тебе — медали! — костлявые кулачки Майну сыпали на Багыра град ударов. — А-а, у тебя отец, да? У тебя медаль, да? Чего тебе еще надо? Получай! На... на... Бери! На — ешь! На, на!..

Багыр и ростом повыше, и телом крепче, и силенок у него больше, чем у Майну. Раньше, когда, бывало, схватятся они из-за бабок, а то просто борются, Багыр всегда брал верх. Но сегодня... Сегодня что-то стряслось с Майну. Он и сам не понимал, откуда у него силы взялись. Он сидел верхом на Багыре, как на бревне, и колотил, колотил его... Должно быть, он стал сильным оттого, что у него нет отца. Мальчику, у которого нет отца, нельзя быть слабым. Кто за него заступится? Этой мысли никто не внушал Майну. Она сама пришла к нему, сама нашла его, сына Дыламаш Кыпчаковой.

Побив Багыра, он до позднего вечера прятался в хлеву. Как ему было вернуться домой и отворить дверь? Только покажись матери — она с прутьями ждет. Это же ясно! Тут же раскричится и давай стегать...

Убежать бы куда-нибудь, далеко-далеко. В Онгудай, например. Все взрослые в Онгудай ездят, в аймак. А где он — этот Онгудай? Заблудишься еще.. А тут и спрятаться негде. Мать все равно найдет.

И точно: послышалось знакомое шарканье тяжелых обуви. В груди Майну запрыгало, заколотилось сердце, дыхание перехватило. Он услышал непривычно ласковый, участливый голос матери:

— Майну, балам, где ты? Тут прячешься, а?

Никогда не звала его так тепло и приветливо мать. Майну не отозвался. Слишком подозрительна была эта участливая доброта. Тут было что-то не так.

— Майну, балам! Мальчик мой, не бойся, иди сюда, — продолжала так же ласково звать его Дыламаш. — Ты, балам, с Багыром подрался, да? Я знаю. Ничего-о, между друзьями всякое бывает. Иди, сынок, иди сюда, балам... Да не бойся ты! Не буду я тебя бить... Тьфу! Зачем мне бить своего сыночка. Иди, балам. Не трону я тебя. Слышишь? Кому говорю!

Майну думал, что мать хитрит, но ошибся. Дыламаш говорила правду. Она пальцем его не тронула и была добра и нежна с ним как никогда.

Мать уложила его в постель и долго гладила жесткой, грубой ладонью, шептала невнятные, какие-то хорошие слова.

Неожиданно она спросила:

— Ты зачем Багыра бил? За что?

Не мог не ответить ей Майну:

— Он своим отцом хвастает, мама...

Мать промолчала. Она уткнулась лицом в подушку и беззвучно заплакала. Теперь Майну худенькими пальчиками потихоньку гладила волосы матери. Он никак не мог заснуть. Ему было жаль мать. Он смутно чувствовал какую-то свою вину перед ней.

— Мама, я больше не буду бить Багыра... Слышишь? Ни-когда.

Мать обняла его.

— Не бей, балам, не бей.

— Он самый лучший друг, да, мама?

— Не надо обижать Багыра. У него... снова ушел на войну отец.

Вот это новость! Майну обрадовался: «Как хорошо! Теперь мы снова будем вместе играть. Теперь у нас обоих нет отцов!» Все же спросил:

— А зачем он уехал? Тут есть нечего, да?

— Не-ет, балам... — мать грустно рассмеялась. — Он на фронт уехал врагов бить. Инвалид..., а уехал...

Этого Майну не понял.

- Он привык воевать?  
— К этому не привыкают, сынок....

Теперь Майну тридцать семь.

Гудит над облаками самолет. Через несколько часов он приземлится в аэропорту Домодедово. Майну ни разу не бывал в Москве. Как только он прилетит, сразу же отправится разыскивать подполковника Карасева. Ивана Петровича Карасева. Адрес его Майну взял вчера в редакции областной газеты «Алтайдын Чолмоны» и за день повторил его, наверное, раз сто: «Новослободская улица, дом номер шестьдесят семь, квартира сто девяносто девять». Даже если он потеряет бумажку, на которой записан адрес, все равно не забудет. Хорошо было бы знать телефон Карасева — позвонил бы ему прямо из аэропорта.

Майну стал мужчиной.

«Когда человек достигнет зрелого возраста, когда он станет мужчиной, он должен сам распоряжаться своей судьбой, — не раз говорил Майну. — Есть такая странная штука — судьба. Так вот, парни, или она тебя победит, или ты над нею возьмешь верх... Я лично поддаваться не собираюсь».

Судьба...

До сегодняшнего дня Майну был вправе считать, что у него счастливая судьба. Он не просто размышлял о ней, он сам планировал ее, сам, можно сказать, ее определял. Направлял и строил по своим замыслам. А что? Разве нельзя?

В пятьдесят девятом году, отслужив в армии, Майну демобилизовался и вернулся в Кайру с шоферскими правами. На грузовой машине проработал он, однако, недолго. Поехал как-то в районный центр, в Онгудай, а оттуда вернулся без прав.

— Что случилось? — спросил его Багыр, тоже недавно пришедший с действительной.

— Добровольно сдал свои права поросенку, — рассмеялся в ответ Майну. — Оказывается, поросята дорого ценятся!

— Хрюшку, что ли, зацепил?

— Бы-ло дело! Хозяйка этой самой хрюшки, как ты говоришь, оказалась доброй бабусей. Я ей пятьдесят рубчи-ков давал — не взяла! Не веришь? Так и сказала: «Нет, говорит, не возьму я с тебя столько!»

— Шутить, Майну? Кто и когда отказывался от денег?

— Не вру! Именно так и сказала: «Ты — солдат, говорит, я с тебя пятьдесят не возьму. Я, говорит, тридцатку возьму. А к осени ты мне, сынок, машину дров привезешь».

— Ой, какая добрая! Даже сынком назвала? Может, и поцеловала?

— Не веришь, значит? Твое дело, — Майну махнул рукой. — А вот автоинспектор... Нет, нет, права я ему сам подарил. Не нужны они мне больше...

— Как не нужны? — удивился Багыр. — Чем же ты будешь заниматься?

— Прежде всего начну строить дом. Это раз. А потом... Дальнейшие мои планы — сплошные максимумы. Большие планы! Каким образом собираюсь их выполнять? Сам пока не представляю.

Ошарашенный Багыр ни о чем больше не расспрашивал. Впервые заговорил тогда Майну о своих «максимумах».

Их жизненные пути — Багыра и Майну — так и шли все время рядом, как на скачках, когда два наездника мчатся бок о бок и стараются не дать сопернику опередить себя.

Оба родились в один год. Оба, окончив шесть классов, не стали больше учиться, пошли работать в колхоз — помогать матерям. Оба, друг за другом, отправились в армию. И снова — вместе в Кайру.

Пока они служили в армии, жизнь не стояла на месте. Их деревня отошла к совхозу, стала одной из его ферм. Были и другие перемены, большие и малые. Одна из них коснулась только Багыра. Переменой, вообще-то, ее и назвать неловко. Это было большое горе для Багыра. Самое большое после гибели отца на фронте в сорок четвертом году. Когда случилось несчастье, Багыра даже отпустили на несколько дней из армии. Приезжал Багыр хоронить мать, после неожиданной смерти которой остался один-одинешенек, как колышек, глубоко вбитый в землю посреди поля.

...Приметной была среди своих сверстниц мать Багыра, Карагыс. Смолоду еще. Высокая, стройная, красивая. Было, правда, у нее одно отличие — на кончике большого пальца правой руки, с самого рождения, черная бородавка, похожая на птичий глаз. Суеверные люди отговаривали Сулатая, когда он надумал жениться на Карагыс:

— Смотри, беды не оберешься! Разве не видишь: на ее

пальце тавро горьких слез. Эта метка — для всех предостережение.

Сулатай не послушался, женился.

Карагыс была мало похожа на алтайку. Рождаются же такие люди! Чего только природа не выдумает!

У Карагыс не только приметная бородавка на пальце была. Прямо посредине лба нашлось местечко для аккуратной круглой родинки. Кайрунские старушки и на этот счет имели свое мнение, говорили, что Карагыс напоминает женщин «из жарких стран». Кто знает, может, и в самом деле давние ее предки жили не в наших горах, а может, много лет назад лежал через Кайру путь какого-то иноземца...

— Будь разумным, Сулатай, — убеждали парня, — не женись на ней!

Да разве в таких случаях кого-нибудь слушаются? Ни о чем не жалел Сулатай, и ничего худого с ним не случилось. Если бы не война... А в войне Карагыс не была виновата.

Вот так. Ушла из жизни и Карагыс. И не «тавро горьких слез» повлияло на судьбу ее близких. При чем здесь приметы?..

Демобилизовавшись, поселился Багыр у сестры своего отца Сырги. Ей перевалило за шестьдесят. Могла бы уехать Сырга из деревни к дочери, та не раз звала ее к себе, да не захотела расставаться с Кайру, где прожила всю свою жизнь, со старой своей избушкой.

— Мне покой нужен, — ответила она дочери. — Старая стала. Няньчить детей не могу. С большим хозяйством не управлюсь. Хватит с меня...

А Багыру, когда он решил с нею жить, обрадовалась:

— Единственного сына единственного брата дождалась!

Как часто повторял Майну: мужчина, став настоящим мужчиной, должен сам управлять своей судьбой. Он еще добавлял откуда-то вычитанное: «Человек должен быть кузнецом своего счастья!» Багыр так и поступил. Буквально! Стал деревенским кузнецом. В той самой кузнице, в которой работал Сулатай Чечогоев, его отец.

Главный учитель человека — жизнь. Именно она потихоньку, по шепотке добавляет с годами опыта и смысла твоему земному существованию. Все приходит с возрастом. С этой точки зрения любопытно взглянуть на того же Майну, сочинившего для себя целую теорию управления собственной судьбой.

Его затея — прежде всего построить для себя дом — лопнула, не осуществилась. Точнее — сместилась, отодвинулась на более поздний срок. Почему? Да потому, что Майну ничего не забыл. Помните, как в шутку спрашивала у него, маленького, мать, обрезая кромки свежего сырабыштака: «Тебе какой сыр надо, балам, — в обе руки или в одну?» Для Майну это — урок на всю жизнь. Он точно знает, когда надо обе руки подставлять, а когда и в одну больше достанется. Любой вопрос — какой ни возьми! — очень схож с той бесхитростной шуткой матери.

Твоя забота, забота мужчины — выбрать себе одну, нужную, необходимую, дорогу. Дело это не простое. Взять тот же дом. С тонкой ленточкой горячего сыра, похожей на собачий язык, которая обжигает руки и рвется на части, не скоро поставишь дом.

Майну не стал скрывать свои мысли от матери. Дыла-маш женщина с головой. Она только улыбнулась словам сына и одобрила его планы.

— Поезжай, сынок, поезжай. Учись... Конечно, лучше быть трактористом, чем шофером. Трактор в деревне водить — большое дело. Сам, поди, соображаешь. Глянь на того же Багыра, своего дружка. Стал кузнецом. Прямо скажу, хороший выбор сделал. Полезное дело.

Майну и сам не слепой. Он все видит, все понимает, что к чему. Каждый хочет жить просторно, в достатке. Если у тебя, к примеру, пятистенный дом, тебе уже хочется построить крестовый. А возле этого дома чтобы штабелями дрова — сухие колотые чурки. Надо тебе — бери, жги сколько хочешь! Не просто это — ладный дом поставить и дров на всю зиму наготовить. Особенно без трактора. Можно, конечно, и без трактора — не у каждого же он есть. Но с трактором куда как лучше. Такое дело...

Прошло немного времени. Где Майну? В Ине. Уехал на курсы трактористов. Когда? Почему так скоро? Как это ему удалось? А что? Кто станет на пути парня, отслужившего в армии? И совхоз должен считаться с его желанием. Совхозу даже выгодно, чтобы Майну стал трактористом. Для совхоза каждый механизатор не лишний. А Майну теперь не ребенок, не Кылдедо. Мужчина-эр, удалец! На плечах голова, во рту — язык. И палец ему в рот не клади.

Багыр Чечогоев, друг Майну, никуда из деревни не уезжал. Он так и возился со своими железяками. От темна до

темна гремел, стучал, звенел в старой прокопченной кузне, находившейся примерно посредине Кайру, чуточку в сторону, ближе к склону горы.

Какое только железо, если верить кайрунцам, не покорял и не обнимал своим «всемогущим» и даже «живым» металлом Багыр! В какую только сторону он это самое железо не гнул, что только из него не делал!

Когда бы ни зашел в его мастерскую — дым столбом, пыль туманом. Человека не видать! Где-то в густых сумерках мелькнут, блеснут глаза кузнеца. Будто по наследству перешел к Багыру талант Сулатая. Его руки чувствуют, понимают металл.

В одном ли Кайру так живут, или в других местах люди тоже такие — неизвестно. А жители здешних мест народ дотошный. Когда, скажем, заготавливают они корма для собственного скота — развелось его после войны! — стожки где попало, как прежде бывало, не ставят. Им это теперь не с руки.

С переходом Кайру в совхоз пришли в деревню, как говорится в газетах, новые формы ведения личного хозяйства. Прогресс, так сказать. Теперешние люди быстро улавливают самую суть прогресса и научились глядеть далеко вперед, не забывая при случае и назад оглянуться, для сравнения. Зачем делать для себя хуже, если можно лучше? Корень того, что кайрунцы быстро и ловко приспособляются ко всему новому, наверно, связан с известной поговоркой, которую в Кайру очень любят: «Вприглядку можно научиться и чугулки делать», что, должно быть, вполне соответствует не менее известному выражению: «Не боги горшки обжигают».

Да, кайрунцы теперь и стожки где попало не ставят, и зароды в чистом поле не мечут. Они ладят стога сразу на тракторных санках, которые мастерят из толстых бревен, из целых лиственничных стволов. Подъезжай зимой к таким санкам, цепляй трос к железному крюку и волоки трактором домой. Р-раз! — и стог в твоей ограде. Целая гора сена к тебе пожаловала. Корми свой скот досыта — и никаких забот.

Но... чтобы изладить для себя такие громадные санки под будущие стога, нужны очень крепкие и длинные гвозди, нужны кованые скобы и крючья. Вот тут-то мы и подходим к самому существу. Вот тут-то и есть самая сердцевина! Таких гвоздей, крючьев и скоб, что скрепляют и держат все части огромных санок, как известно, ни в каких

магазинах не продают, не только в Кайру, а даже и в городе. Их мастерят такие парни, как Багыр, которые умеют гнуть железо в любую сторону и разговаривают с ним на «ты». Потому-то, когда начинают поспевать травы и настает пора сенокоса, даже чуть загодя, у Багыра каждый день — праздник. Вот, глядишь, он уже под «ой-ей-ей». Вот, глядишь, его туда-сюда качает. Поет, навеселе. За гвозди, за скобы, за крючья кайрунцы готовы не то что бутылку Багыру поставить — от себя кусок мяса отрежут. А Багыру что? Не отказываться же.

Майну не такой. О нем по Кайру другие разговоры.

После курсов механизаторов он прибыл из Ини в Кайру в самую пору весенних полевых работ. Прямо, как говорят, поспел к кёчэ, пока не остыл. Дня не потерял — сразу в бригаду, сразу на трактор.

По весне ломает лед, соединяющий в течение долгой зимы, как поется в русской песне, «два берега у одной реки». В это время произошла еще одна встреча Майну с Багыром. Будь это встреча как встреча, о ней можно было бы и промолчать. Но именно она приоткрыла ту трещину, что долго, невидимая, таилась в отношениях между ними.

Майну на своем тракторе подъехал к кузнице, чтобы Багыр сделал ему какую-то ерундовую гаечку. Кликнул друга-кузнеца, а у того язык заплетается.

— Гаечка сей же час будет в твоих руках, друг Майну! — веселей, чем следовало бы, закричал Багыр, сверкнув глазами из темноты закопченной и дымной избушки, называемой кузницей. — Только вот... гаечку эту, по нашим законам, полагается смазать. Хорошо бы пошла для смазки поллитровочка... Слышишь, Майну, а?

Может, он эти слова сказал шутки ради, но Майну они не понравились. Они, эти слова, что называется, прожгли его печень.

— Неужели тебе еще мало? — сдерживая себя, но довольно сердито спросил Майну. — Никак не наешься!.. Смотреть противно, Багыр!

— Каждому по труду! — так же весело отозвался кузнец. — Ты ведь о своих максимумах не забываешь...

На этот раз Майну зацепило больнее.

— Ты на все смотришь через донышко бутылки, вот что я тебе скажу. — Острые лезвия узких глаз Майну полоснули Багыра от широкого улыбчивого рта до кончиков пыльных сапог. — Если будешь так жить, далеко не уедешь. Запомни мои слова.

Багыр швырнул в угол какую-то железяку, вытер руки ветошкой, раза два-три глухо кашлянул и, будто нарочно, сплюнул. Словно щекоча Майну своей ехидной ухмылкой, он шагнул к нему, обдавая смесью запахов горелого железа и водочного перегара, и чуть не ткнулся — грудь в грудь. Теперь, когда они стояли вплотную, совсем близко, заметно было, какие это высокие и крепкие парни. Схватись они, и бревна старой кузницы раскатились бы во все стороны, как щепочки малые. Но парни так и стояли — лицо к лицу, нос к носу, молча, тяжело и порывисто дыша.

— Какая сорока-ворона принесла тебе на хвосте, что я на дальнюю дорогу нацелился? — с той же пьяной ехидцей произнес Багыр. — Не бойся, вперед тебя не проскочу, Майну. Мне и кайрунские кручи подходят. Ты ведь знаешь: в этой кузнице мой отец работал... А потом... Потом, я пью и ем на свои, на собственные. Понял?

— Ты прав, Багыр, — Майну тоже за словом в карман не полез. — Ты прав, — повторил он. — Ты сам себя грей.

Он смерил друга презрительным взглядом и, забыв про пужную ему гаечку, круто повернулся спиной к Багыру. Уже дойдя до трактора, оглянулся:

— Я помню, что тут работал твой отец... Только он работал не за водку.

Его широкие натруженные ладони словно припекло. Почему-то Майну отчетливо припомнилась встреча с отцом Багыра возле этой самой кузницы. В тот вечер он гнал из ложка Белую Корову с телянком, и Сулатай остановил его, по-взрослому говорил с ним и подарил две солдатские пуговицы со звездочками. Не было никогда у Майну дорожке подарка! Наверное, хотел тогда Сулатай, чтобы Майну не так уж сильно завидовал Багыру, который носил отцовский ремень и фуражку, а иногда даже нацеплял медаль...

Громыхая тяжелыми кирзовыми сапогами, Майну взобрался на трактор.

Багыр молча смотрел ему вслед. Он навалился руками на дверной косяк и, не выходя из мрака кузницы, выпятил грудь. Переступил было порог, словно хотел пуститься вдогонку, но сдержался и махнул рукой...

— А-а, пусть!..

После того и пошли их пути-дороги, как «два берега у одной реки» — и рядом, да напротив... А сверх того — горячие дни полевых работ. Майну почти не появлялся в деревне, даже ночевал на бригадном стане. О молодом трак-

тористе заговорили. Да еще как! Молва о нем летела, как пламя по сухой траве.

— Кто это в верховьях Кайру так быстро вспахал поляну, широкую, словно подол моей шубы? — спрашивал у кого-нибудь дедушка Чакылдай и тут же сам отвечал: — Конечно, Майну! Кто еще?

— Ба-таа! — обращался он уже к другому. — Только позавчера поле было в траве, а уже вся земля черная! Вот как работает Майну. И не останавливается. Разгонит свой трактор и прет... Не-ет, я вам скажу, Майну свое возьмет!

— Тут дело не только в Майну, — доказывал Чакылдай третьему. — Теперь и наша Кайру совсем не та деревня. Это вам не затерянный среди гор одинокий колхозничко... И трактор, я вам скажу, — тоже не худая кобыленка послевоенной поры. Что такое наша совхозная ферма? Это, я вам скажу, организация государственной важности! Тракторов много — хорошо-якши. Такие парни, как Майну, выросли — тоже хорошо-якши! Еще лучше заживем...

Дед Чакылдай, конечно, говорун из говорунов, но и другие люди точно так же о Майну отзывались.

...Если вы сегодня приедете в Кайру, мимо не пройдете: в верхнем краю деревни, на небольшом пригорке, высится крестовый дом. С резными наличниками на больших окнах, со всякими узорами по карнизам и коньку крыши. Сколько лет прошло, как он выстроен, а все как новый.

— Чей это дом? — спросите вы.

— Как чей? — удивятся люди. — Конечно, Майну.

— Вот каким должен быть настоящий эр-мужчипа, — подхватит тут же еще кто-нибудь. — Все парни должны быть такими, как сын Дыламаш...

— Майну все в дом тащит, — неодобрительно отзывается о бывшем друге Багыр. — Сломанную иголку на дороге увидит и ту подберет.

Это на Майну не действует. Как бы и что про него ни говорил Багыр, до Майну его слова не доходят. Он их пропускает мимо ушей. Он, Майну, только-только начал выходить на прямую дорогу.

Поглядим, что будет дальше.

Все пахотные земли кайрунской фермы, разбросанные между горами, если бы потребовалось, Майну один перепахал бы на своем тракторе. Запросто. Что-что, а работать он умеет. Его от работы, когда он за что возьмется, силой не оторвешь. Как гвоздь в дело войдет, смолой к работе прилипнет. И любое дело его рук добротню, крепко, краси-

во — хоть на выставку! По словам самого Майну, его «максимумы» пока лишь начинают «входить в руки».

Да что мы все вокруг да около!

Взять хотя бы, когда Майну тешет бревно или просто-напросто колет дрова.

Весь он ходит ходуном, как заведенный. Жилы на руках и на ногах как у доброго быка. Смешно вспомнить, что когда-то была у Майну кличка Кылдедо — Волосяные Ножки! Крепкое, сильное, гибкое тело у него. А какие широкие плечи! А руки? Длинные, цепкие, ухватистые. Когда Майну втянется в работу, войдет в ритм, когда высочатся из мускулистого его тела крупинки пота — спина, плечи, бугристые мышцы блещут под солнцем. Любо смотреть на него. Будто и не работает он вовсе, а затеял какую-то увлекательную игру.

И на ноги Майну стоит посмотреть, когда он кантует бревно или разваливает колуном суковатые чурки на поленья. Не ноги — ворота. Между ними свободно проскочит торбок — годовалый бычок. Как тут не вспомнить, что в древних легендах-сказаниях про богатырей говорили: «Головою движет тучи небесные!»

Единственное несоответствие всей его могучей, складной фигуре — глаза. Они у Майну маленькие, узкие, словно всегда ищут чего-то, к чему-то прицениваются, примериваются, что-то высматривают, что-то с чем-то сравнивают. Глаза у Майну словно прилепились к высокому лбу. И ни на кого из кайрунских мужчин он не походит...

Дом Майну, о котором мы уже говорили, — самый высокий в Кайру был, когда он его поставил, и долго еще самым высоким оставался. Это уже через сколько лет стали строить капитальнее, просторнее, по-городскому. И сборно-щитовые, и шлакобетонные, и всякие другие. Но всем другим крестовым домам и даже самым-самым новым дом Майну все равно не уступает: построено так построено! А как он мог по-другому? Сам без малого двух метров ростом. Разве смог бы он жить в избушке-куратнике на восемь-девять бревешек высотой?

Когда Майну начинал ставить сруб, то говорил:

— До потолка еще метра полтора надо от кончиков пальцев, если я руку над собой подниму. Вот так. Я такие дома видел, когда в армии служил. И у наших онгудайских — у русских — тоже высокие дома.

Этот самый крестовый дом с большими, в голубых резных наличниках, светлыми окнами на все четыре стороны

подлунного мира, с крытой белым шифером крышей Майну построил ровно через год после того, как приехал с курсов трактористов.

А за ним... За ним начали строиться и другие. Его сверстники прежде всего.

Вообще-то никого теперь домами в Кайру не удивишь. Подумаешь — дом! Многие молодые забывать стали, что такое аил, хотя их еще в деревне хватает — привычных, исконных алтайских жилищ. Только стоят они во дворах, по соседству с добротными избами, и стали чем-то вроде летних кухонь... И мебелью городской никого не удивишь, гарнитурами всякими. Кое-кто, правда, и сейчас обивает пороги аймакисполкома, выпрашивает себе мотоцикл. Не «Ковровец», конечно, слабосильный, на котором только девчонки катать, а добротный мощный «ИЖ-Юпитер» с коляской — это вещь. Но больше сейчас желающих обзавестись машиной. Старики поговаривают, что недалеко то время, когда кайрунцам не понадобится больше хороший конь под хорошим седлом. Вот до чего дожили, вот какая жизнь пошла — и не жизнь, а малина, или, точнее сказать, сам мед золотистый.

5

Осень...

Давно закончился сенокос. Запасена зеленка для скота, заложен силос. Конечно же, кайрунцы успешно завершили продажу хлеба государству.

В один из таких осенних дней по Кайру прошуршала-прошелестела любопытная весть о том, что Майну собирается играть свадьбу.

Кого такая весть оставит равнодушным?

— Которая же из наших девок сыну Дыламаш приглянулась?

— Говорят, метит на одну из семерых дочерей дедушки Монулдая.

— Ба-таа!! Что же это такое? На младшую? Да ведь Торкош давно Багыр сватает.

— И такой ходит слух.

— А мать ее, тетушка Тана, наотрез Багыру отказала. Имя его слышать не желает.

— Так и должно быть, Багыр, конечно, работающий, даже очень хороший парень. И руки у него золотые. Только вот увлекся этой самой бедой... Водка — вот что губит человека...

Не зря русские люди говорят, что шила в мешке не утаишь. Слушки да шепотки обязательно где-нибудь наружу прорвутся. Особенно в сельской местности. Здесь ни одно слово не затеряется, за что-нибудь да зацепится, обо что-нибудь да ударится, и если даже не разобьется на куски, хоть маленький осколочек от него да отлетит и заденет. Народ зря ничего не скажет. Он все знает, народ. В самом деле, Майну и Багыр полюбили одну и ту же девушку, дочь старого Монулдая — Торкош Шелковинку, девушку с соболиными бровями.

И случилось то, что не могло не случиться: как-то оба парня-соперника, словно две глыбы, сорвавшиеся с одной горной кручи, столкнулись прямо у порога дома дедушки Монулдая.

Со всех сторон на Кайру надвигались плотные осенние сумерки. В окнах уже позажигались огни. И вот, говоря по-нашему, повстречались два страха...

— Наверно, про тебя сказано, — с неприязнью и невпопад процедил сквозь зубы Багыр, — Собака даже из-за дерьма рычит.

— С чего ты взял, что это меня касается? — не остался в долгу Майну. — Думать надо, что говоришь! И неизвестно еще, кто кому поперек пути становится — ты или я... Надо сперва разобраться, парень...

— А как мы будем разбираться? Силой кулака или мерой нажитого добра?

— Что ты меня моим добром попрекаешь? — взвился Майну. — Я что, у тебя что-нибудь отобрал? То болтаешь, будто я и сломанную иголку на дороге подберу. Теперь вот опять... В чем...

Багыр не дал ему договорить.

— Я тебя, Майну, насквозь вижу!

— И я не слепой. Если ты эр-мужчина — я тоже. Если ты обломок стали — и я такой. Ты не думай...

— Говори, говори... Я послушаю. Давно мы с тобой по-нашему, по-алтайски, за подолы не схватывались. Помнишь, как ты меня лупил? Отцу моему завидовал. Мне завидовал. Много времени прошло... Теперь и я не прочь сетью дождя поймать.

Майну, конечно, не забыл тот летний день сорок третьего года. И теперь, когда Багыр напомнил о нем, что-то снова шевельнулось в глубине его сердца. Он и не собирался оправдываться. «Да, — думал Майну, — действительно, все началось с зависти». Но тут же раздумья его

отодвинулись куда-то, уступая место сегодняшнему спору, которого они еще не успели решить. Трудному спору. С ядовитыми клыками.

— Я не собираюсь хвататься с тобой за грудки, Багыр, — с горечью произнес Майну. — Мы не малые дети. Из этой нашей беды надо искать другой выход...

— Выход, говоришь? А где он? Подскажи, сделай милость. Я послушаю.

Язвительный, но в то же время грустно-задумчивый голос Багыра словно электрическим током ударил Майну. Однако он, с трудом сдерживая себя, ничем не выказал волнения.

— Вот что, — предложил он. — Пусть будет так, как скажет Торкош. Согласен?

— А что? Согласен! — Багыр улыбнулся, хотя видно было, что и ему не просто оставаться спокойным. — Ты мне только скажи, когда и где мы услышим это ее решение?

Бесконечно далекая луна сыпала на Кайру свое жидкое серебро, и от него, и от неяркого света из окон домов над деревней растеклась мутновато-белая тишь. Из-за угла Монулдаева дома мелькнула тень, и через минуту к парням быстрыми шажками подошла Торкош.

— Я все слышала...

Парням стало не по себе. Они пыхтели и молчали.

— Я все слышала! — голосок Торкош зазвенел громче и строже. — Я вам что? Я, по-вашему, не живой человек, да? Нет уж!

В сгустившихся до темноты сумерках они застыли, как три ноги одного тагана. Не было лишь между ними огня. Два высоченных парня, молча и тяжело дыша, стояли перед маленькой, хрупкой девушкой, словно провинившиеся мальчишки.

Это рядом с такими верзилами, похожими на Хозяина тайги, Торкош выглядела маленькой. На самом-то деле была она и не с вершок и не с палец ростом. Девушка как девушка, хоть и не очень крупная, но стройная, вся в мать, тетушку Тана, которая в молодости считалась первой красавицей Кайру. И разговорчивая, между прочим, острая на язык тоже, как тетушка Тана. Ее слова — как колючие иголки карганы-акации. К тому же Торкош четыре года проучилась в Барнауле, в культпросветучилище, много читала, так что ей хорошо известно, о чем в какой книге написано и кто по какому поводу сказал подходящие слова.

— Судьба современных женщин, — еще строже продолжала Торкош, — судьба современных девушек не зависит ни от бога, ни от отца с матерью, ни от коня...

— При чем тут конь? — обиделся Багыр. Он пошарил в кармане, вытянул пачку «Беломора», размял папиросу, чиркнул спичкой. — Ты что же, нас за жеребцов считаешь? Торкош улыбнулась.

— Это твоя собственная фантазия, Багыр. Я не о каких-то там жеребцах вообще говорю и не о вас тем более, а о настоящих конях-бегунцах. — Голос ее теперь стал ровным и звучал поучающе и чуть покровительственно, будто она читала лекцию. — Я видела много казахских фильмов. Об этом и говорю. Что любопытно: почти в каждой картине девушка скачет на коне, а за ней гонится целая толпа парней-всадников. Кто из них, то есть чей конь догонит девушку, тому она и достанется в жены. Разве это любовь?! Нет! Это злая игра судьбы, нелепый, отживший обычай...

— Но тогда... — опять вмешался Багыр. — Тогда мы хотели бы услышать твое слово, Торкош.

Майну почему-то чувствовал себя виноватым.

— Неудобно получилось, — пробормотал он. — Извини, пожалуйста, Торкош... Мы не хотели...

— Почему неудобно? — девушка удивленно пожала плечами. — Идет честный, откровенный разговор. Я так думаю...

— Но тогда... — чуть смелее начал было Майну и тут же запинулся. Лицо у него горело, в висках стучало.

Торкош заговорила опять:

— Я ведь тебе, Багыр, ясно сказала, что между нами ничего быть не может... А ты, Майну... — девушка неожиданно всхлипнула, прикрыла ладошками лицо и убежала в дом.

Парни потоптались еще.

Майну спросил:

— Что ты теперь скажешь?

Багыр никак не проявил своих чувств и даже как будто воспринял слова Торкош совсем равнодушно. Может, он смирился с тем, что Торкош в открытую, в присутствии Майну, отказала ему. Может, как раз присутствие Майну заставило его внутренне собраться. Во всяком случае, внешне спокойный, он пошел от дома Монулдая, сказав напоследок почти весело:

— По-моему, Майну, наши земляки-кайрунцы совершенно справедливо поют: «Высоко в небе горит звезда.

Только глазами ее достанешь. Одна на свете — любовь моя. О ней одной мечтаю...» Помнишь, дружище? — Он подчеркнуто произнес последнее слово, вложив в него и крик души, и тень зависти, и боль стыда. Тяжело вздохнул, швырнул на землю окурок давно потухшей папиросы, ссутулился и зашагал, насвистывая какой-то мотив, стуча по мерзлой земле большими кирзовыми сапогами.

Теперь о близкой свадьбе Майну и Торкош стали говорить открыто. Искры этих веселых вестей легко перелегали через большие и малые реки, через горные перевалы, достигая окрестных сел.

— Что ты нашел в этой Торкош? — спросила сына Дыламаш. — Неужели на всем белом свете, кроме нее, девушек нет? Слушать стыдно, что только про тебя люди болтают?

— А вы не слушайте. — Майну торопливо, большими глотками допил чай. — Торкош дала согласие. Пусть что хотят болтают, кому делать нечего.

— А Багыр? — Мать посмотрела прямо в глаза сыну. Майну вышел из-за стола.

— Хватит, мама! Хватит, болор. Жалостью любовь не спасешь.

Что могла поделать Дыламаш? Парень твердит «хочу», девушка говорит «согласна». Значит, такова судьба... Опять вот только эта судьба сталкивает ее сына с Багыром...

Кайрунцы не поскупились, помогли тетушке Дыламаш, чтобы свадьба у ее сына была славной, хотя Майну был этим недоволен и не без оснований считал, что не хуже справился бы и сам. Как бы то ни было, той справили богатый. Всей деревней.

Так Майну и Торкош стали мужем и женой.

Много новых домов прибавилось в Кайру после их веселой свадьбы. Деревня разбросалась между гор, подпирающих снизу полоску голубого неба. Узкой долиной шагают рядами, то вверх, то вниз, дома и айлы, а по обе стороны единственной дороги, пересекающей Кайру, продолжают возникать новые строения, будто перегоняют друг друга, будто хотят убежать далеко-далеко и увидеть конец бескрайнего пути. Вчера еще, помнится, на обочине торчала трава да топорщился колючками караганник, а уже на этом месте дымит новенький аил и рядом с ним вырастает аккуратненький домик...

Много звезд погасло над Кайру с тех пор, как отшумела

свадьба Майну и Торкош. Еще больше зажглось их в небе над горами, и светят они ярче тех, что канули в вечность.

Когда у нас умирает человек, говорят — «ушел за солью»... Многие кайрунцы, отбыв на земле положенные им дни и годы, «ушли за солью» после памятного тоя Майну и Торкош. Другие заняли их место на земле.

Нет больше в деревне дедушки Монулдая. Железноглазого. Отца Торкош и ее шести сестер-красавиц...

6

Что ни говорите, а жизнь и сложна и интересна! Живет человек — и пусть живет как ему вздумается. Не надо мешать ему! Он и так много терпит.

Зачем, например, находят для него разные клички-прозвища? Будто мало ему имени, данного отцом и матерью. Майну еще повезло — никто не зовет его больше Кылдедо — Волосяные Ножки. Да и смешно было бы так звать мужчину-богатыря. А вот Монулдай до самой смерти своей проходил Железноглазым — Темир-Кес.

Были в Кайру и Собачий Хвост, и Надо, и Почему... Удивительно, что многие из этих уличных имен накрепко прилипали к людям и очень метко характеризовали их владельцев. Отделаться от кличек было совсем не просто. Если уж пристанет — с концом.

Раньше всем подряд плохие имена давали — чтобы злых духов обмануть. Так назовут — сказать стыдно! Да еще кличку навесят. Вот и живи...

Монулдай был человек немногословный. Нескладный, черный, с каким-то суровым и отчужденным взглядом. За взгляд этот и прозвали его Железноглазым. Так, во всяком случае, молодые считали, таким деда всегда знали. И всем кайрунцам на удивление самым веселым и разговорчивым на свадьбе Торкош и Майну был... дедушка Монулдай.

— На большой палец выпало счастье моей младшей дочке, — радовался старик. — Майну — парень, знающий жизнь. Отца у него нет? Не беда! Я ему буду отцом. Сам в его анле из своего кресала искры высеку, в его очаге огонь разожгу!..

— Совсем, старый, спятил! — одернула его тетушка Та-на. — Люди подумают, что ты сам Майну нашу дочку навяливаешь.

Монулдай ручищей своей, как медвежьей лапой, отмахнулся:

— А-а, что ты понимаешь! Меня сколько лет Железноглазым звали? Ну и что из того? Разве мои глаза от этого железными стали? Не-ет, мать моих детей. Я должен своими руками, своим кресалом зажечь первый огонь в аиле, где у моей дочери постель будет и радость всей ее жизни. Скажи мне, кому я должен свой огонь передать, если ты мне ни одного сына не родила? Семь дочерей!.. Пусть мой огонь у Торкош горит. Пусть дочь моя и зять мой — сын мой! — будут счастливы!

Так ведь и сделал: своими руками высек искры из старого огнива, разжег огонь-первенец в аиле молодых. И напутственные слова при этом сказал:

— Гори, гори, мой огонь. Коричневого марала печень пусть на нем жарится. Ярче гори, мой огонь. Черного барана грудинка пусть на нем жарится...

В самом деле, совсем другим человеком стал в тот день Монулдай. Будто не выдавал старших своих дочерей замуж, будто не было у него зятьев, кроме Майну. Кайрунцы головы ломали, понять не могли: что с ним стряслось, что случилось? Будто подменили Монулдая! Да будь он хоть немного таким, как на свадьбе Торкош, разве бы кто посмел звать его Железноглазым?

И это еще не все. В аиле Монулдая топшур, конечно, водился. Но вряд ли кто хоть раз видел, чтобы он брал его в руки, касался его струн. Монулдай — кайчи? Да того, кто бы такое сказал, вся деревня бы обсмеяла. А на свадьбе дедушка Монулдай запел. И как запел!

Много лет провел Монулдай на дальних пастбищах с табунами коней. Привык к одиночеству. Может, там, в горах, под кедрами, и пел с тоски для себя самого. Но чтоб на людях?! Голос у него оказался густой и чистый, как снега горных вершин, как сама земля и непреклонные горы.

— Э-э-э-э, эй-эй-эй! — начинал он протяжно и глухо. Голос его рокотал, будто издали приближался гул урагана или едва еще слышался топот тысяч и тысяч коней.

— Ээ-э-э, эй-эй-эй! — набирал силу, крепчал голос певца.

Кедры вечнозеленые, качая ветвями,  
Зимою и летом растут.  
Голосистые кукушки  
Петь и радоваться не перестают.  
Вечным летом объят мой Алтай, —  
Эй-эй, аа-ай...  
В белоснежные одежды Ак-Аяса —  
Доброго и старого Ульгена —

Ты укутал свои горные вершины,  
Весь из камня и железа,  
Мой любимый, вечно юный Алтай, —  
Эй-эй, аа-ай...

Не очень складной была его песня, но кто замечал это? Он цел увлеченно, взволнованно, и волнение Монулдая передалось всем.

...Свадьба Майну стала большой свадьбой, большим праздником. Играли ее не только в его большом доме. Весь день и всю ночь пылали очаги этого веселья в аилах всех старших сестер Торкош. Такой обычай — гулять у всех родственников невесты, что старше ее годами. А у Торкош, как известно, еще шесть сестер, и все старшие... А сколько двоюродных да троюродных по отцу и матери? А дяди да тети? Одни в гости приехали, другие сами гостей принимают.

В аиле отца Торкош собралась самая близкая родня и друзья хозяев, жениха и невесты.

Дыламаш знала, как смягчить сурового Монулдая. Никуда не денешься: тот, кто отдает свою дочь в чужую семью, в день свадьбы — бог и царь на всю округу. Потому-то сватами со стороны жениха и оказались дед Чахылдай — первый друг-приятель Монулдая, перед которым Железноглазый не станет строжиться, и управляющий фермой Саналов Санаа — этот хоть и молод годами, но, что ни говори, глава, «президент государства Кайру», как любит именовать его остроязыкий Чахылдай.

Свадебное веселье шло полным ходом. Круговая чара — золотой чочой — переходила из рук в руки. Гости по-немногу хмелели, языки у них развязывались, в аиле становилось шумно. Когда Монулдай прервал свой кай, чтобы перевести дух, дед Чахылдай, как это не однажды с ним случалось, затеял спор.

— Монулдай, друг! — закричал он. — Подожди. Тише, товарищи, я хочу слово сказать, а то забуду. Слушай, друг Монулдай, — тянул он за рукав отца Торкош, хватал за крутые, бугристые плечи, подмигивал ему. — Знаешь, что я тебе скажу? Хотя рядом с нами сидит управ, но именно он, однако, наш враг, а?.. Хотя он наш кайрунский президент и управ, понимаешь?

Санаа хорошо знал старого говоруна, да и каждого, кто находился тут и кого здесь не было. Говорили, если на дороге будет валяться отрубленный палец, Санаа точно скажет, чей он — лишь бы кайрунцу принадлежал. По этой

причине управляющий и не думал обижаться на Чакылдай и на кого угодно другого и пользоваться своими «президентскими» правами — свадьба есть свадьба, и тут любому можно попасть на язык.

— Знаешь, почему он наш враг? — продолжал Чакылдай. — Не знаешь? Тогда слушай меня. Однако из-за таких молодых «президентов» молодежь начинает высоко носы задирать и забывает добрейшие обычаи твоих и моих предков. Вот что я скажу, мой друг Монулдай.

— О чем ты? — Монулдай недоумевающе поглядел на него. — Я тебя что-то перестаю понимать.

Санаа тоже косился на Чакылдай, не соображая, куда тот клонит.

— Сейчас поймешь, дай сказать, — вертелся веретеном Чакылдай. — Вот ты только что пел... Пел под звуки старого топшура, сделанного из священного дерева — кедра. А он, управ и президент, почему так не умеет петь?

Тут вместе со всеми захохотал и весело закричал Санаа:

— Дайте, дайте мне семиструнный топшур, дедушка Чакылдай, дайте семиструнную гитару, и я докажу...

— Нет-нет, обожди, паря-президент, — замахал руками Чакылдай. — Тогда и я скажу, чтобы принесли мне, как это, тьфу!.. — Он распростер свои короткие и быстрые руки, словно крылья, и обвел всех сияющим и в то же время кого-то ищущим и зовущим на помощь взглядом. — Ну, как его?.. В клубе-то стоит, черный такой...

— Пианино, что ли? — подсказал Санаа. — И вы хотите на нем...

— А что? — почти серьезно спросил Чакылдай. — Думаешь, не смогу пробежать своими десятью скрюченными пальцами по его гремящим шпалам? Я ведь во время войны... Чего я только не видел во время войны, управ-президент! Хоть у Монулдая спроси.

— Да уж он подтвердит все, что вы скажете.

— Ай-ай-ай! Послушай меня, молокосос, президент и управ, — размахивал в возбуждении руками старик. — Когда мы с моим другом Монулдаем, сидящим здесь, освободили Прагу и другие мировые города, ты думаешь, не видели таких черных штучек, что в нашем кайрунском клубе дремлет и совсем редко под чьими-нибудь пальцами пляшет? Видели, да еще...

— И играли! — подхватил Санаа.

— Играли, — уверенно сказал Чакылдай.

Оба они выпили по пиале подогретой арачки, и управляющий спросил Чакылдай:

— Вы так и не досказали, каким же образом мы приостанавливаем бег времени? Мы с вами споткнулись на пианино.

— Вот только что мой друг Монулдай под звуки топшура спел нам прекрасную песню о нашем Алтае, — тихо заговорил старик. — Кто сказал вам, сегодняшней молодежи, что голос топшура и комуса не годится для коммунизма?

— Я так не говорил, что звуки топшура мешают хозяйной работе, общему делу и социалистическому соревнованию, — в тон ему шутливо возразил Санаа. — А вот вы должны учить молодежь, подсказывать нам. Разве не так?

— Вот хитрец! — восхитился Чакылдай. — Я ведь, друг мой Монулдай, не зря прозвал его президентом. Вывернулся

— Вообще-то... — заговорил наконец и Монулдай. — Вообще-то, Советская власть дала нам не только много машин, тракторов и сытую жизнь...

— Так, так, давай, друг, давай! — подбодрил его Чакылдай. — Ты, мне кажется, где-то за зубами прячешь красивую мысль, подобную солнцу или сегодняшнему веселому огню очага.

— Я хочу сказать, что самый большой подарок Советской власти — это душа человека. Светлая душа...

— Вы хотите сказать... — вмешался Санаа.

— Обожди-подожди, управ! — закричал Чакылдай. — Пусть мой друг докончит свою мысль. Не надо скакать впереди всех, да еще на чужом коне.

— Сегодня человек видит далеко и мыслит глубоко, — закончил Монулдай. — А мы с тобой, — обратился он к Чакылдаю, — хотя войну прошли, разные земли, разных людей видели, но все же...

Санаа опять не дал ему досказать.

— Вот именно, я с вами согласен! Это называется духовный рост.

— Обожди и подожди, Санаа, — вмешался Чакылдай. — Я скажу.

— Пусть лучше отец Торкош еще споет под топшур.

— Ты нас не уводи! — стоял на своем Чакылдай. — Я все же частично хочу не согласиться с тобой, управ. Ты слышишь меня? Если хорошие наши обычаи — почитать седоголовых стариков, как я или мой друг Монулдай, — не могут догнать быстробегающих машин, то нельзя ли это

железо остановить или придержать хотя, чтобы на конях едущие или пешком идущие обычаи не отставали от молодежи, а?

— Это сложный вопрос, — посерьезнел Санаа. — Я думаю, лучшие добрые наши традиции ни от чего не отстают и догонят не только машины, но и быстрые самолеты.

— Нет, — отрезал Чакылдай. — Все-таки сегодняшняя молодежь шальная и бесшабашная... Прежде всего, Саналов Санаа, знаешь, где ютится главная змея? Вот в этом самом чочое. Вот как!

— А кто в этом виноват, если не вы, старики? — рассердился все-таки Санаа. — Вы сами...

— А-а, вот ты как заговорил, дорогой президент! Значит, мы виноваты? Слышишь, Монулдай, о чем говорит сидящий рядом с тобой шенок? А тебе известно, Саналов Санаа, что мы до армии не знали вкуса кабака-араки?

— Да, — согласился Монулдай. — Раньше парни до двадцати пяти лет, или пока не отслужат, не баловались водкой. Чакылдай прав... Спорить, конечно, можно долго и совсем позабыть про свадьбу моей дочери Торкош.

— Именно, — поддержал его Санаа.

— Так-то, конечно, так... — Чакылдай тоже поостыл.

Спор завершил сам хозяин.

— В этом вопросе все мы не правы. Виновата в этом деле война...

— Как? — в один голос вскинулись Чакылдай и Санаа.

— Я так мыслю: лучшие люди, лучшие мужчины ушли на проклятую войну. Сами знаете, опустело село. Оставшихся учить некому было... Вернулось-то нас мало. А новое поколение — от наших полусирот да полная безотцовщина...

— В этом что-то есть, — задумчиво произнес Санаа. — Но ведь школа, лекции, кино — разве этого мало?

— Нет, не мало, — согласился Монулдай. — Вот ты видишь, перед нами горит огонь. В очаге пылают красные угольки. Ребенку, который только ползать начал, эти угольки красивой игрушкой кажутся. Вот он и пытается схватить. А ему говорят: «Поп, балам, поп! Осторожно, маленький! Нельзя!» Не послушает он, сунет руку в огонь — поймет, что больно. Другой раз забудет, опять полезет, мать ему снова: «Поп, поп, балам!» Тут он, может, и вспомнит, что это действительно «поп!», действительно опасно. Родители изо дня в день твердят младенцу,

что угли в жарком очаге — не игрушка... И за молодежью, друзья мои, нужен постоянный присмотр.

— Слушай, друг Монулдай, — опять свернул на шутку Чакылдай — После сегодняшнего разговора я, однако, совсем пить брошу.

Все засмеялись и тут же поднесли чочой Чакылдаю. Тот отказывался и с притворным ужасом говорил: «Это ведь поп!» Все же он взял в руки пиалу, отстранил ее и, прокричав нараспев: «Поп-поп, Чакылдай! Поп-поп, Чакылдай!» — опорожнил одним глотком и закружился на кривоватой ноге, припевая одно и то же: «Поп-поп, Чакылдай! Не пей больше, Чакылдай!..»

На мужской и женской половинах аила не смолкал хохот, пока старик отплясывал и пел.

Просмеялись, утихомирились. Санаа подал Монулдаю топшур. Снова зазвенели струны, зазвучал кай:

Перевалы твои, —  
Тайнами и безмолвием укрытые, —  
Миновать мне всегда помогал.  
Благопожелание мое — тебе, мой Алтай!  
Скоту твоему белому,  
Людям твоим с чистой душой,  
Ай-ай, оо-ой...  
На выгнутых позвонках  
Твоих горных вершин,  
В глубоко пробороздивших тебя падах  
Медведи и волки твои живут,  
Маралы и элики-козлы живут.  
Ты их дом и защита, мой Алтай,  
Ими богат ты и славен, мой Алтай,  
Ээ-эй, аа-ай...  
С твоих гор устремились в долины  
Целебные реки,  
Брызжут белыми волнами...  
Пусть всегда будут полны  
Твои голубые леса,  
Шелковисты озера,  
Высоки и зелены травы,  
Мой Алтай, мой Алтай, мой Алтай,  
Аа-ай, аа-ай, аа-ай...

Говорят, чувствует человек, когда близится его смертный час, когда предрешена его судьба. И дедушка Монулдай, наверно, когда пел, понимал, что в последний раз глядит на синее небо, что прощается с горными перевалами, которые он бесчисленно одолевал со своими табунами, с бродами больших и малых рек, с кедрами и лиственницами тайги, песком и камнями пройденных дорог, следами коней на

них... Нет, не только прощался — встречался! Встречался с самым высоким своим полетом, со своей молодостью и ее удастью, возвращался к годам своей зрелости и все-таки снова и снова прощался с Алтаем...

— Если смерть придет, — говорили после старики, — надо так помирать, как Монулдай. Детей своих не мучил, сам не мучился.

— Эйе, погулял на свадьбе младшей дочки, лег отдохнуть и ушел за солью... — не без зависти вздыхали старики.

Да, старик знал свое дело. Не кричал никогда, не бил себя в грудь, мол, я столько делаю, мол, не цените, хотя работал куда больше других — с себя самого строго спрашивал. С Майну его, во всяком случае, никак не сравнить. Майну одно твердит: «Мужчина, став мужчиной, должен сам управлять своей судьбой». А Монулдай по-другому жил. Он считал, что жизнь человека зависит от других людей, от тех, с кем он рядом работает.

Взгляды у старика и у последнего его зятя на жизнь были разные, характеры совсем не схожие, а любил его Монулдай больше всех. Должно быть, что-то роднило их, какая-то жилка в их сердцах билась одинаково, — кто знает. Жизнь — тайна. Оттого, наверно, интересно жить на земле. Не ушел бы за солью Монулдай сразу после свадьбы Торкош, открылось бы всем, чем привязал его к себе Майну, почему был он ему как сын.

Умер дедушка Монулдай, — родился у Торкош первенец. В честь деда, в память о нем называли его кайрунские старики Монулдаем. Добрые слова сказали ему:

— Пусть будет таким же хорошим охотником, как его дед!

— Пусть станет таким же кайчи-сказителем, как его дед!

Что со стариков возьмешь! Послушать их, так дед Монулдай только тем и занимался, что охотой. Будто он и коней не пас, и другими делами не занимался. А уж какой он был кайчи, если один раз, на свадьбе младшей дочери, запел вдруг ни с того ни с сего!

Поднимаются, тянутся к высокому небу голубые дымы из труб новых домов и аилов Кайру. Значит, жизнь продолжается! По обочинам дорог буйно зеленеет трава, всякий раз возглашая своим появлением о приходе новой весны, новой жизни. Топчут эту траву новые поколения людей, идут навстречу своим мечтам, своим целям, своим радостям и горестям. Жизнь продолжается!

— Дочку мою, Торкош с соболиными бровями, увел сын Дыламаш, у которого богатырские кости, — говаривала при любом удобном случае тетушка Тана.

Лет, однако, десять прошло, как она впервые это сказала. Если не больше. Время-то как быстро летит!

В жизни молодых за эти годы не было ни горя, ни печали. Славно, дружно, хорошо живут Торкош и Майну.

— Торкош родит мне девять детей. И всех на ноги поставит. Больше мне от нее ничего не надо! — твердил на свадьбе Майну. — Не двух, не трех — девять! Максимум! Я сам один рос. Хуже нет, когда у тебя ни братьев, ни сестер. — И добавлял: — Наш народ малочисленный. Кто умножит его, если не такие парни, как я? Это тоже — мой максимум!

Пока что «максимум» они не выполнили, но дети у них есть, растут: два мальчика, три девочки. Старший, Монулдай, в Еловской школе-интернате, двое в Кайру начальное образование приобретают, двух младших тетушка Дыламаш пасет.

Торкош работает библиотекарем. Аккуратная такая, ладная, прибранная всегда, с людьми обходительная, вежливая. С мужем рядом идет — девчонка девчонкой! Тонкая, стройная. Ну, а если без Майну ее увидишь — другое впечатление: видная келин. Не та, что в девичьи годы, не та... Полнеть начала. А глаза прежние — угольками пылающими обжигают. И брови — соболиные, это уж точно. Умна, сообразительна. Кайрунцы народ приметливый. Быстро углядели, что Торкош ни в чем матери Майну — Дыламаш — не уступит, и свое заключение сделали: «К голове — голова, к рукам — руки».

Можно с полной уверенностью сказать: нет сейчас в Кайру человека авторитетнее Майну.

Когда мы ведем речь об авторитете, то понимаем, что он, авторитет этот самый, зря не возникает, на пустом месте не появляется. Авторитет подкрепляется авторитетом. Он схож со священными горами Алтая. Ну, например, в незапамятные времена еще древние предки объявили священной гору Уч-Сюмер, окропив предварительно ее молоком белой кобылицы и окурив благовонным дымом зеленого можжевельника. Так и возвышается она, самая знаменитая в округе, до наших дней. А пригорки и холмики по соседству с нею тоже вроде бы не простые, и на

них распространяется высокий авторитет почитаемой людьми горной вершины.

Майну, работая дни и ночи на своем тракторе, удивил и покориł кайрунцев своей прытью и удаљью, грудолубием и старательностью, открыл людям глаза на себя, заслужил авторитет. Что же тут удивительного, если имени его матери Дыламаш, его жены Торкош — сельского библиотечаря — тоже произносят уважительно, с почтением? И они в свою очередь добрыми делами, доброй славой своей подкрепляют авторитет главы семьи, Майну.

Что теперь тетушке Дыламаш? Хоть и перепрыгнула она через порог шестидесятилетия, хоть и сморщилась, скрючилась — годы свое берут! — а носит тем не менее шубу из лучших овчин, какую и в молодые годы не нашивала, в теплых сапогах с мехом внутри ходит. Хоть и состарилась тетушка Дыламаш, но сидеть любит высоко — не на земле, как прежде, ноги под себя поджав, а на стуле со спинкой.

О своей снохе Дыламаш слова худого не скажет. Было дело, сомневалась поначалу, сопротивлялась в душе выбору сына, кривила душой, наговаривала на Торкош. Нет, против девушки она ничего не имела, и не могла ей не нравиться красавица Шелковинка. За Багыра болело сердце Дыламаш. Не хотелось, чтобы страдал из-за Майну сын Сулатая.

Потом все это прошло, сгладилось. Между снохой и свекровью швов не видеть и вода не просочится. Да что говорить: сноха что надо!

Всем довольна Дыламаш, не только снохой и сыном. Дом — четыре комнаты. Каждая, как поле, просторная, светлая. В каждой по большому окошку. В какой из четырех жить? Сама хозяйка, сама выбирай. Не жизнь — удовольствие. Хочешь радио послушать? Вот оно, радио, только руку протяни и включай. И все новости узнаешь, обо всем тебе расскажут из Горного, из Барнаула и даже из самой Москвы! Плохо, конечно, что Дыламаш не очень ладит с русским языком, но радио и по-алтайски говорит, а музыка — всюду музыка, и газета «Алтайдын Чолмоны» каждый день, кроме понедельника, приходит. Надевай очки и читай сколько хочешь, пока глаза не устанут. На маленьком столике разные газеты лежат. И журналы тоже. Это Торкош придумала — такой маленький столик для газет и журналов поставить, как в библиотеке, где она работает. Газеты Дыламаш всегда читает. В них

инной раз очень приятные и интересные вещи прочитать можно. Например, о передовом совхозном трактористе Майну Кыпчакове. А один раз в газете — в краевой, в барнаульской! — даже фотография сына была...

Прежде, когда Дыламаш еще в колхозе работала, умела она, как никто, из сотни литовок самую лучшую для себя выбрать. Возьмет в одну руку литовку острием вниз, а другой потихонечку так прищелкнет по лезвию или чем-нибудь твердым слегка заденет и прислушается к звону. Переберет, сколько их есть, и выберет наверняка, не ошибется — легкую, звонкую, прочную, острую. Хорошей литовки только коснись умеючи — она тут же отзовется тонко, красиво, будто на своем языке поет. «Это я, это я! Ты меня нашла, ты и бери!» Как струна топшура, поет-звенит.

И в жизни Дыламаш все, что ей надо, будто косу, выбирает. Всегда она знает, что надо делать и чего нельзя, о чем можно громко сказать, а когда лучше и промолчать. В жизни-то совсем так же: прищелкни кончиками пальцев и прислушайся, приглядишься повнимательней. Если все ладно — чистым звоном отзовется, а если хоть маленькая трещинка есть, или еще что-то не так прочно, или не так лежит — тоже сразу поймешь.

Майну мужчиной стал. В советах и помощи матери не нуждается больше. Дыламаш не в обиде: так и должно быть. А краешками своих узковатых глаз незаметно, но и пристально приглядывает за жизнью и работой единственного своего сына. Пока ей не приходилось тревожиться за него, огорчаться им, стыдиться его. Всем довольна Дыламаш. Жизнью своей, сыном своим, женой его, внуками.

Авторитет авторитетом, а жизнь не так уж проста. Когда кончаются полевые работы в совхозе, поздней осенью особенно, кайрунцы то и дело к Майну наведываются. Думаете, зря? Не-ет, зря нынче ничего не бывает!

«Я за речкой пару лесин свалил, Майну», — скажет будто между прочим кто-нибудь из гостей, и все ясно, даже для Дыламаш. Это значит, человек решил запасти к зиме побольше дровец.

Нынче люди не то что раньше. Они не станут запрягать коня, чтобы приволочь из лесу какое-нибудь бревно. И топором, как дятел, всякий раз тюкать не будут, если в очаг пару поленьев подбросить надо — обед ли приготовить или просто погреться у огня. Людям надо теперь,

чтобы возле их домов красовались поленницы под крышу. А для добрых поленниц надо не одну лесину повалить. Коня загоняешь. Вот трактором срубленные деревья в Кайру привезти — плёвое дело. Если, конечно, Майну не откажет. А он и не отказывает. Он всегда людям помочь готов. Трудно ему, что ли, попутно зацепить пару-другую хлыстов? Ну, а уж если сосновые или лиственничные кряжи у самой ограды лежат, опять к Майну идут, опять без него никак не обойдутся. Чтобы штабеля бревен превратились в желтые квадраты поленниц, нужна бензопила «Дружба», а такая пила появилась в Кайру, само собой, прежде всего у Майну. Такие вещи просто липнут к его рукам.

Как репей колючий, пристаёт к парням кайрунским поговорка: «Вприглядку можно научиться и чугулки делать». Не хотят кайрунские парни отставать от Майну. Чем они его хуже? У кого дом пятистенки был — недоволен. Старо. Надо крестовый ставить. Вот это житуха! Как-никак люди грамотные стали, считать научились, разбираются, что четыре больше двух. А дом, тем более крестовый, без леса не поставишь. Лес где? В горах. Как его с гор спустить, в Кайру доставить? На тракторе — козе ясно. Значит, опять все от того же Майну, единственного сына Дыламаш Кыпчаковой, зависит. А он пусть одно только слово скажет — «ладно». Считаю, дело уже сделано.

Став зрелым мужчиной, Майну вершок за вершком, шаг за шагом подбирается к своим «максимумам». Если всего этого не будет понимать Дыламаш, если она ему не поможет, не подскажет вовремя, кто за нее поможет и подскажет сыну?

Жизнь — не литовка. Как ты по ней ни прищелкивай пальцами, как ни прислушивайся к ответному звону, жизнь идет своими путями-дорогами. Вечной радости и бескрайнего простора вокруг тебя на все времена может и не быть. Голову любого мужчины жизнь может в любое время склонить к земле.

Месяца два или три назад в дом Майну ни с того ни с сего появился Багыр. Никого, кроме Дыламаш, которая возилась по хозяйству и попутно приглядывала за младшими внучатами, он не застал.

Тетушка Дыламаш даже растерялась, увидев его, — не могла припомнить, бывал ли он хоть раз у них после того, как Майну женился. Выглядел он неважно. Несмотря на замешательство, Дыламаш обрадовалась гостю,

однако не знала, как себя вести с ним, о чем говорить, с чего начать, как не знала и о том, в каких отношениях находится сейчас с Багыром сын. Редко попадала впро�ак Дыламаш, а вот угораздило.

— Но... Как работаешь? — нерешительно начала она. — Проходи, Багыр. Почему так похудел? Что с тобой случилось?

— Плохи мои дела, эдебис, — признался Багыр и, прикрыв ладонью рот, несколько раз подряд глухо кашлянул. — Налейте мне, пожалуйста, чашечку холодного молока.

— Заболел, что ли? Беда какая...

— А вы разве не слыхали? — Багыр снова закашлялся. И без того большой нос его стал, казалось, еще больше на исхудалом лице. Глаза глубоко западали и печально поблескивали из-под нависших бровей. — Оигудай в область отправляет. В больницу...

Дыламаш сновала по горнице, не соображая, как вести себя с Багыром, что сказать ему, что предложить. У нее засвербило в носу.

— Ну, пройди, Багыр, присядь, — пригласила еще раз. — Чаю горяченького попей. Совсем у нас не бываешь...

Она тяжело вздохнула. Не могла Дыламаш спокойно смотреть на такого болезненного, так переменившегося Багыра. И молчать не могла, и говорить не было сил.

— Бог ты мой, высокий Ульген? Что мне с вами обоими делать — со своим Майну и с тобой? Кого из вас винить, кого оправдывать? Один бог только и знает...

— Ничего, эдебис! — стал успокаивать ее Багыр. — Во всем я один виноват, никто больше. Никто черную пыль кузницы силой в мою грудь пригоршнями не сыпал. Сам, только сам виноват... Пил много... Зачем? Часто вспоминаю, как однажды ваш Майну мне сказал: «Грызешь, парень, сам себя». Верно сказал.

Нелегко было слышать такое тетушке Дыламаш. Сильней всего резануло — «ваш Майну». Это о лучшем друге...

— Ну, пройди же, Багыр, — снова попросила она. — Зачем стоишь у порога?

Без толку суетилась, взволнованная и растерянная. На миг засветились ее глаза, прояснилось лицо.

— Тебе надо есть мясо и жир когтистых зверей. Барсука искать надо, сурков-тарбаганов ловить. Этих еще — подземных тварей — кротов, сусликов. Тоже, говорят, помогает...

них распространяется высокий авторитет почитаемой людьми горной вершины.

Майну, работая дни и ночи на своем тракторе, удивил и покориł кайрунцев своей прытью и удаљью, трудолюбием и старательностью, открыл людям глаза на себя, заслужил авторитет. Что же тут удивительного, если имени его матери Дыламаш, его жены Торкош — сельского библиотекаря — тоже произносят уважительно, с почтением? И они в свою очередь добрыми делами, доброй славой своей подкрепляют авторитет главы семьи, Майну.

Что теперь тетушке Дыламаш? Хотя и перепрыгнула она через порог шестидесятилетия, хотя и сморщилась, скрючилась — годы свое берут! — а носит тем не менее шубу из лучших овчин, какую и в молодые годы не нашивала, в теплых сапогах с мехом внутри ходит. Хотя и состарилась тетушка Дыламаш, но сидеть любит высоко — не на земле, как прежде, ноги под себя поджав, а на стуле со спинкой.

О своей снохе Дыламаш слова худого не скажет. Было дело, сомневалась поначалу, сопротивлялась в душе выбору сына, кривила душой, наговаривала на Торкош. Нет, против девушки она ничего не имела, и не могла ей не нравиться красавица Шелковинка. За Багыра болело сердце Дыламаш. Не хотелось, чтобы страдал из-за Майну сын Сулатая.

Потом все это прошло, сгладилось. Между снохой и свекровью швов не видеть и вода не просочится. Да что говорить: сноха что падо!

Всем довольна Дыламаш, не только снохой и сыном. Дом — четыре комнаты. Каждая, как поле, просторная, светлая. В каждой по большому окошку. В какой из четырех жить? Сама хозяйка, сама выбирай. Не жизнь — удовольствие. Хочешь радио послушать? Вот оно, радио, только руку протяни и включай. И все новости узнаешь, обо всем тебе расскажут из Горного, из Барнаула и даже из самой Москвы! Плохо, конечно, что Дыламаш не очень ладит с русским языком, но радио и по-алтайски говорит, а музыка — всюду музыка, и газета «Алтайдын Чолмоны» каждый день, кроме понедельника, приходит. Надевай очки и читай сколько хочешь, пока глаза не устанут. На маленьком столике разные газеты лежат. И журналы тоже. Это Торкош придумала — такой маленький столик для газет и журналов поставить, как в библиотеке, где она работает. Газеты Дыламаш всегда читает. В них

иной раз очень приятные и интересные вещи прочитать можно. Например, о передовом совхозном трактористе Майну Кыпчакове. А один раз в газете — в краевой, в барнаульской! — даже фотография сына была...

Прежде, когда Дыламаш еще в колхозе работала, умела она, как никто, из сотни литовок самую лучшую для себя выбрать. Возьмет в одну руку литовку острием вниз, а другой потихонечку так прищелкнет по лезвию или чем-нибудь твердым слегка заденет и прислушается к звону. Переберет, сколько их есть, и выберет наверняка, не ошибется — легкую, звонкую, прочную, острую. Хорошей литовки только коснись умеючи — она тут же отзовется тонко, красиво, будто на своем языке поет. «Это я, это я! Ты меня нашла, ты и бери!» Как струна топшура, поет-звенит.

И в жизни Дыламаш все, что ей надо, будто косу, выбирает. Всегда она знает, что надо делать и чего нельзя, о чем можно громко сказать, а когда лучше и промолчать. В жизни-то совсем так же: прищелкни кончиками пальцев и прислушайся, приглядишься повнимательней. Если все ладно — чистым звоном отзовется, а если хоть маленькая трещинка есть, или еще что-то не так прочно, или не так лежит — тоже сразу поймешь.

Майну мужчиной стал. В советах и помощи матери не нуждается больше. Дыламаш не в обиде: так и должно быть. А краешками своих узковатых глаз незаметно, но и пристально приглядывает за жизнью и работой единственного своего сына. Пока ей не приходилось тревожиться за него, огорчаться им, стыдиться его. Всем довольна Дыламаш. Жизнью своей, сыном своим, женой его, внуками.

Авторитет авторитетом, а жизнь не так уж проста. Когда кончаются полевые работы в совхозе, поздней осенью особенно, кайрунцы то и дело к Майну наведываются. Думаете, зря? Не-ет, зря нынче ничего не бывает!

«Я за речкой пару лесин свалил, Майну», — скажет будто между прочим кто-нибудь из гостей, и все ясно, даже для Дыламаш. Это значит, человек решил запasti к зиме побольше дровец.

Нынче люди не то что раньше. Они не станут запрягать коня, чтобы приволочь из лесу какое-нибудь бревно. И топором, как дятел, всякий раз тюкать не будут, если в очаг пару поленьев подбросить надо — обед ли приготовить или просто погреться у огня. Людям надо теперь,

чтобы возле их домов красовались поленницы под крышу. А для добрых поленниц надо не одну лесину повалить. Коня загоняешь. Вот трактором срубленные деревья в Кайру привезти — плёвое дело. Если, конечно, Майну не откажет. А он и не отказывает. Он всегда людям помочь готов. Трудно ему, что ли, попутно зацепить пару-другую хлыстов? Ну, а уж если сосновые или лиственничные кряжи у самой ограды лежат, опять к Майну идут, опять без него никак не обойдутся. Чтобы штабеля бревен превратились в желтые квадраты поленниц, нужна бензопила «Дружба», а такая пила появилась в Кайру, само собой, прежде всего у Майну. Такие вещи просто липнут к его рукам.

Как репей колючий, пристаёт к парням кайрунским поговорка: «Вприглядку можно научиться и чугулки делать». Не хотят кайрунские парни отставать от Майну. Чем они его хуже? У кого дом пятистенки был — недоволен. Старо. Надо крестовый ставить. Вот это житуха! Как-никак люди грамотные стали, считать научились, разбираются, что четыре больше двух. А дом, тем более крестовый, без леса не поставишь. Лес где? В горах. Как его с гор спустить, в Кайру доставить? На тракторе — козе ясно. Значит, опять все от того же Майну, единственного сына Дыламаш Кыпчаковой, зависит. А он пусть одно только слово скажет — «ладно». Считай, дело уже сделано.

Став зрелым мужчиной, Майну вершок за вершком, шаг за шагом подбирается к своим «максимумам». Если всего этого не будет понимать Дыламаш, если она ему не поможет, не подскажет вовремя, кто за нее поможет и подскажет сыну?

Жизнь — не литовка. Как ты по ней ни прищелкивай пальцами, как ни прислушивайся к ответному звону, жизнь идет своими путями-дорогами. Вечной радости и бескрайнего простора вокруг тебя на все времена может и не быть. Голову любого мужчины жизнь может в любое время склонить к земле.

Месяца два или три назад в дом Майну ни с того ни с сего заявился Багыр. Никого, кроме Дыламаш, которая возилась по хозяйству и попутно приглядывала за младшими внучатами, он не застал.

Тетушка Дыламаш даже растерялась, увидев его, — не могла припомнить, бывал ли он хоть раз у них после того, как Майну женился. Выглядел он неважно. Несмотря на замешательство, Дыламаш обрадовалась гостью,

однако не знала, как себя вести с ним, о чем говорить, с чего начать, как не знала и о том, в каких отношениях находится сейчас с Багыром сын. Редко попадала впро- сак Дыламаш, а вот угораздило.

— Но... Как работаешь? — перешительно начала она. — Проходи, Багыр. Почему так похудел? Что с тобой случилось?

— Плохи мои дела, эдебис, — признался Багыр и, при- крыв ладонью рот, несколько раз подряд глухо кашля- нул. — Налейте мне, пожалуйста, чашечку холодного мо- лока.

— Заболел, что ли? Беда какая...

— А вы разве не слышали? — Багыр снова закашлялся. И без того большой нос его стал, казалось, еще больше на исхудалом лице. Глаза глубоко запали и печально по- блескивали из-под нависших бровей. — Оигудай в область отправляет. В больницу...

Дыламаш сновала по горнице, не соображая, как вести себя с Багыром, что сказать ему, что предложить. У нее засвербило в носу.

— Ну, пройди, Багыр, присядь, — пригласила еще раз. — Чаю горяченького попей. Совсем у нас не бываешь...

Она тяжело вздохнула. Не могла Дыламаш спокойно смотреть на такого болезненного, так переменившегося Багыра. И молчать не могла, и говорить не было сил.

— Бог ты мой, высокий Ульген? Что мне с вами обоими делать — со своим Майну и с тобой? Кого из вас винить, кого оправдывать? Один бог только и знает...

— Ничего, эдебис! — стал успокаивать ее Багыр. — Во всем я один виноват, никто больше. Никто черную пыль кузницы силой в мою грудь пригоршнями не сыпал. Сам, только сам виноват... Пил много... Зачем? Часто вспоми- наю, как однажды ваш Майну мне сказал: «Грызешь, парень, сам себя». Верно сказал.

Нелегко было слышать такое тетушке Дыламаш. Силь- ней всего резануло — «ваш Майну». Это о лучшем друге...

— Ну, пройди же, Багыр, — снова попросила она. — Зачем стоишь у порога?

Без толку суетилась, взволнованная и растерянная. На миг засветились ее глаза, прояснилось лицо.

— Тебе надо есть мясо и жир когтистых зверей. Бар- сука искать надо, сурков-тарбаганов ловить. Этих еще — подземных тварей — кротов, сусликов. Тоже, говорят, по- могает...

Найдя наконец спасительную нить разговора, Дыламаш говорила теперь не умолкая. Искренне, участливо говорила, а в глазах — глубокая тоска-печаль. Багыр не мог не вспомнить давнишнее присловье, кочевавшее среди кайрунцев, когда еще он сам и Майну были мальчишками. Какая бы из женщин деревни ни загрустила, ей тут же говорили: «Что это у тебя в глазах печаль Кыпчаковой Дыламаш поселилась?»

— А ты все у порога стоишь! — спохватилась и всплеснула руками Дыламаш. — Пройди же к столу, поешь хоть немного.

— Ничего мне не надо. Спасибо. Я хотел Майну повидать... — Багыр зашелся в кашле. — Уезжаю я сегодня.

— Дело, может, какое к нему? Ты скажи, я передам, если не секрет. А то подожди, он скоро придет.

— Нет... Пусть тогда так останется. Некогда мне. — Багыр повернулся, чтобы идти, но Дыламаш заступила ему дорогу.

— И чего вы с Майну сердитесь друг на друга? Почему не помиритесь? Бог ты мой, Ульген добрый! — И запричитала, прищелкивая языком: — Калак-калак! О куда! О кайрака-ан!..

Багыр нетерпеливо подался вперед. Должно быть, причитания матери Майну раздражали его, но не хотел выказать своего неудовольствия, проявить непочтительность к старой женщине.

— На Верх-Кайру я несколько лесин срезал, — замывшись, сказал он. — Хотел попросить Майну, чтобы привез. У тетки Сырги дрова кончаются, а я, наверно, не скоро вернусь...

— Скажу, милый! — обрадовалась Дыламаш. — Обязательно передам, балам! Даже не беспокойся. Майну завтра же приволокет. И распилит сам, и наколет. Не печалься, Багыр...

## 8

Проходят годы, не пересекаясь один с другим. У каждого года свой путь. В жизни иначе. Вроде бы шли разными берегами Кайру судьбы Майну и Багыра, но жизнь опять навела меж ними зыбкий мостик.

Можно и так еще сказать: жизнь каждого отдельного человека — островок. Но с какой стороны к этому островку подобраться, как его объехать, чтобы ненароком не

врезаться, — темное дело. А жизнь — неумолима. Все при ней — и горе и радость.

Майну, конечно же, выполнил просьбу Багыра и матери. На другой день вывез с горы заготовленные Багыром сушины. Еще через день разделал их на чурбаки своей «Дружбой» — дотемна тарахтела пида у аила Сырги. И еще полный день работал Майну — раскалывал чурки и складывал дрова в поленницу.

Тетушка Сырга, понятно, и топорница не тронула, но от Майну не отходила. Сидела рядышком, смолила трубочку и не с ним, а с собой будто бы разговаривала — печалилась о Багыре, его болезни, вслух размышляла о том, как ему там, в больнице, когда поправится, когда вернется в Кайру...

— Большие доктора взялись за здоровье Багыра. Должны вылечить...

Майну, не отрываясь от работы, молча кивал ей, подкакивал, соглашался, разделяя ее надежду и радость. А радоваться было чему — на всю зиму старухе дров наготовил.

Он взмахивал топором. Острее колуна сверкало над его головой обломком молнии и с силой, с хрястом, со свистом вбивалось в толстый сучкастый чурбак, разваливая его на части. Все меньше оставалось чурок, все выше поднималась поленница, все так же негромко и неумолчно жужжал голос тетки Багыра:

— Мой единственный брат Сулатай — что с ним было поделать! — сам ушел за своей смертью. Никто его насильно не отправлял.

Сколько раз слышал об этом Майну и от Багыра, и от других людей.

— Мой отец добровольно на фронт вернулся, — рассказывал Багыр. — В Онгудай к военкому до тех пор ездил, пока не отправили. Ему отказывали: тяжелое ранение, инвалид, с учета снят. А он своего добился!

Так все и было. Багыр ничего не прибавлял.

Старики помнят, как Сулатай в первый раз уходил на фронт, вместе с другими кайрунцами, летом сорок первого. Гордо уходил. Так уходил, будто он один мог обеспечить победу на фронте, будто от него одного зависела судьба страны. Такое не забывается.

Война...

Далеко шла она от алтайских гор, а каждый из долгих дней ее грозным эхом и тяжкой болью отзывался здесь,

в маленькой алтайской дерезне. Кайру стоит среди таких гор, в стороне от больших дорог, от больших тревог. Тогда, в сорок первом, здесь еще колхоз был — «Дьаны Дьол». «Новый путь», значит.

Июнь — месяц малой жары. Ко второй половине июня травы вымахивают по грудь коню, щекочут щемящим зеленым ароматом. И хлеба уже радуют урожаем, хотя им еще зреть да зреть.

В июне сорок первого все было как обычно, как всегда. Так же, от берега до берега, швыряла бурная Кайру свои пенистые волны. Со всех сторон атакованная скалистыми кручами, кружила и ярилась река, как барс в капкане. Вознесенные к небесам, строго и надменно серебрились под летним солнцем заснеженные вершины гор.

В те тихие дни многие молодые кайрунцы пооставляли своих коней, уехали навсегда. Сёдел снять не успели, сбрую прибрать... Покинули родные места, чтобы не вернуться.

По древнему календарю шел тогда по земле год Змен.

Когда два года спустя Сулатай приезжал в Кайру, он рассказывал, что его военная дорога началась под Новгородом. Мало кто слышал про этот Новгород, честно признаться, мало кто толком знал, где он находится. Может, учили про это в школе. Даже наверняка учили. Может, и в кино видели. Только кайрунцы тогда и совсем близкими городами не интересовались. По пальцам можно было пересчитать тех, кто хоть по разу бывал в Бийске или Барнауле. В Горный — его тогда Ойрот-Турой называли — и то не многие ездили. В аймачном центре, в Онгудае, побывать — для любого события было. Так что само по себе название — Новгород — ничего землякам не говорило и не объясняло.

И если бы Сулатай тем только и ограничился, что называл город, под которым началась его фронтовая судьба, да реку — Волхов она называлась, — которую пришлось ему форсировать в октябре сорок первого, кайрунцы, возможно, так и не узнали бы, где же все это происходило. Но Сулатай рассказал еще, что от Новгорода — древнего русского города — фашисты упорно стремились прорваться к Ленинграду. А Ленинград, как и Москву, конечно же, знали в Кайру и стар и мал. Знали о блокаде Ленинграда, о стойкости тех, кто его оборонял, кто жил в нем в голоде и холоде в страшные блокадные дни.

Новгород близко от Ленинграда, и Сулатай со своими

боевыми товарищами не только не пустил фашистов на север, но заставил их отказаться от своих планов.

Сражался Сулатай храбро, стрелял метко. Стал отличным разведчиком. После первых же боев получил награду — медаль «За отвагу». Не многих тогда награждали, в самом начале войны.

Там же, под Новгородом, в самом конце сорок первого его тяжело ранило. Осколок снаряда угодил в висок. Живым Сулатай остался чудом. Еще бы несколько миллиметров, и никакие врачи не смогли бы его спасти. Они бы просто не понадобились, врачи. Шрам обезобразил его лицо.

— Черные кускуны-вороны, проклятые враги, — не умолкала Сырга, — выключили брату глаз...

Сидя на толстой чурке, она об эту же чурку выколачивала из трубки остатки табаку, снова набивала трубочку и, выпуская изо рта на холодный осенний воздух клубы белого дыма, проклинала далекие дни года Змен, не зря получившего такое зловещее название.

Майну в такт ударам колуна громко выдыхал — ыхх, ыхх, ыхх! Поленья со звоном разлетались в стороны. Он, как всегда, работал сосредоточенно, с наслаждением, не пропуская, однако, ни единого слова тетушки Сырги.

Стоило старухе хоть на миг умолкнуть, охваченный воспоминаниями, Майну отчетливо слышал голоса Багыра, Сулатая, матери, других кайрунцев... Об отце Багыра, сельском кузнеце Сулатае Чечогоеве часто и много говорили в деревне.

...Когда рана на левом виске Сулатая затянулась и стало ясно, что глаз спасен, но в строю солдату больше не быть, выписали разведчика из госпиталя, продержали, сколько положено, в батальоне для выздоравливающих и направили в тыловую часть на Урал под Свердловск.

Рана через некоторое время открылась. Болел поврежденный глаз. Снова госпиталь — один, потом другой... Так переступил порог сорок третий год, и в месяц малой жары демобилизовали Сулатая как инвалида войны, приехал он в Кайру и на другой же день взял в руки свой молот, молот кузнеца. Как он нужен был колхозу в те дни! Как много сделал за то недолгое время, что гремел своим молотом. Как много мог еще сделать. Но жила в его сердце боль. Не в силах был мириться Сулатай с тем, что другие мужчины на фронте, а многие из его друзей и сверстников-кайрунцев никогда уже не увидят родных гор, не

вдохнут настоящего на хвое кедров и лиственниц, на ароматах тысячи трав воздуха Алтая. Не мог Сулатай смотреть на усталые лица солдатских вдов, на убитых горем и военной нуждой стариков, на чумазных и вечно голодных ребятишек.

Вот и зачастил Сулатай в аймачный центр — в Онгудай, к военкому.

— Направьте меня на фронт!

Ему отказывали.

Через несколько дней он снова стоял перед военкомом:

— Не могу больше! Пошлите на фронт!

Он упорно добивался и сумел добиться своего. Уехал. Уехал и не вернулся...

Долго пустовала кузница, что стоит у подножья горы, чуть в стороне от домов и аилов. Не слышно было в ней веселого звона молота, будто и не было никогда на белом свете человека по имени Сулатай из рода-племени Чечогоевых. До тех пор пустовала кузница, пока не взял в свои руки молот отца Багыр. Взял, да не удержал...

— Разве я ему не говорила: не ездь, оставайся дома. Плакала, просила... Карагыс как его уговаривала. Нет, не послушался, — вздыхала Сырга. — Сам, по своей охоте отправился смерть искать! Разве смерть в нем нуждалась? Ей и без него хватало. А теперь что? Нету — ек... И Сулатая нет, и Карагыс померла. Теперь вот у Багыра какая еще судьба будет...

9

Снег выпал.

Все обновилось вокруг, задышало свежестью и чистотой.

Прихватило морозом речку, соединило сплошным ледяным поясом ее берега. А той трещине, что образовалась между Майну и Багыром, не суждено было затянуться...

Так вот и бывает: пока ты откладываешь от случая до случая, ждешь подходящего момента, успокаиваешь себя — успеется, мол, завтра сделаю, глядишь, — прошло время, не заметил, как опоздал, упустил, проморгал. Теперь больше откладывать некуда — ни на завтра, ни на послезавтра, ни на следующий год.

— Багыр умер, — холодным шепотом прошуршало по зимней Кайру.

Ранним утром — Саналов Санаа еще не ушел на работу — в сенях его дома послышался какой-то шум. Дол-

жно быть, в потемках кто-то не мог нашарить дверную ручку.

Санаа пошел отворять. За дверью стояла Сырга в распахнутой овчинной шубе, полы которой, едва не касаясь земли, разметались на ветру. Втаскивая за собой белые облака холода, старуха медленно вошла в дом. Яркий электрический свет ослепил ее, и она заслонила глаза костлявыми пальцами и стала искать, где бы присесть. Разглядела длинную скамейку возле русской печи, проковыляла к ней, шаркая ногами, неловко села, кряхтя. Утренний морозный ветер высек из ее тусклых глаз слезы, и они дрожали капельками на редких ресницах, в глубоких морщинах на щеках, в складках над впалым ртом.

Кайрунцы звали ее Кара-Уйкижи — Черная Женщина — за необычайную смуглость кожи. С крючковатым носом, ширококостная, сильная в молодости, она обладала тогда мужской хваткой.

Догадаться, зачем в такую рань явилась Сырга, было нетрудно. Санаа еще вечером узнал о смерти Багыра. Тем не менее он ничем не обнаружил своей осведомленности, поздоровался со старухой и после уже спросил:

— Что рано так?

— Разве рано? — удивилась Сырга и, нагнувшись, вытерла подолом шубы слезы, застилавшие глаза. — Я всю ночь не спала... Бог ты мой!.. Слышал, какое горе?

— Ээ-э... Слышал, слышал, — поспешно отозвался Санаа, боясь своей участливостью вконец расстроить старуху. Все же сказал со вздохом: — Какой парень был...

— Лучше бы я померла... — всхлипнула Сырга и опять наклонилась смахнуть подолом шубы горе с глаз. — Не бросайте его тело на чужой стороне... Пошли людей, Санаа, чтобы сюда привезли... Если ты не поможешь — больше никому.

— Что ж... — Санаа поднялся. — Вы пока чайку попейте, отдохните, а я в контору пойду. Посмотрю, кто сегодня свободен.

— Были бы живы-здоровы братья и сестры, я бы не мучилась так... — Слезы текли по щекам Сырги, и она уже не вытирала их. — Если бы не война, не обеднел бы так мой род... Привезите Багыра! Не оставляйте там. Хватит, что отец его неизвестно где похоронен...

Не знал Санаа, что еще вечером старуха, охваченная горем, ходила к Майну. Не знал, как еще больше умножилось ее горе.

Майну так помог ей с дровами, когда Багыр уехал в больницу, так она была ему благодарна. Уверена была: Майну не откажет. И ошиблась. Ушла от него потрясенная.

— Чуть что — Майну! Что за народ! У меня не четыре руки, не четыре ноги, — разворчался Майну. — Если нет никого поехать в город, — значит, там и похоронят. А мне не разорваться.

Как вырвались у него такие слова? Как у него при этом язык не отсох?!

— Я думала, ты парень с головой на плечах. — Сырга поглядела на Майну с удивлением и опаской и, шепча что-то про себя сухими дрожащими губами, пошла в распахнутой долгополой овчинной шубе к дверям.

Почти сразу после ее ухода в дом не вошла — ворвалась Анна Монулдаевна, сестра Торкош и заведующая начальной школой. В глазах молнии.

— Майну! — пронзила она насквозь гневным взглядом мужа своей сестры. — У тебя нет ни сердца, ни совести! Что ты ответил старому, почтенному человеку, скажи?.. А ты? — накинулась Анна Монулдаевна на Торкаш. — Ты чего смотришь, если твой Майну взбесился?!

Она бросилась к выходу, но задержалась в дверях, зло глянула на примолкших супругов и выпалила такие ядовитые слова, которые ни за что не решилась бы произнести в любом другом случае:

— Не бойся, Майну. Багыр не сможет теперь отбить у тебя жену. Умер Багыр...

От растерянности и стыда, охватившего его, Майну не нашелся чего и сказать. Лицо его стало багровым. Неожиданно вскипела Торкош:

— Что вам Майну плохого сделал? Он разве Багыра убил? Отравил? Интересно!

Старшей сестры давно уже и след простыл, а Торкош не умолкала:

— Сегодня как раз в газете пишут: алкоголизм губит людей. От самых опасных болезней, от того же туберкулеза легче спасти человека, чем от водки. Беречь себя надо, вот что...

Такой вот у нее характер, у Торкош. То из-за какой-нибудь чепухи корит и точит мужа, то вдруг вступилась за него, хотя он кругом не прав.

Майну все еще находился в шоке. Его будто ударили по голове чем-то тупым и тяжелым. Не замечая этого, Торкош принялась за него:

— А тебя кто за язык тянул — такое ляпнуть?! Болтаешь, что попало. Думать сперва надо, а потом рот раскрывать. Да любому доведись — рассердится.

«Багыр не сможет теперь отбить у тебя жену. Умер Багыр», — толклись в мозгу Майну жестокие слова Анны Монулдаевны.

...В конторе Санаа оказался много раньше обычного. Там была только техничка — растапливала печи, вытирала пыль со стола, убирала вчерашние окурки.

— Сходите-ка к кому-нибудь из шоферов, — попросил ее Санаа. — Пусть придет сюда... Корондой, что ли.

Пока техничка неспешно собиралась, пока ходила, пока в одиночестве Санаа прикинул, кого, куда и на какую работу направить сегодня, из-за гор нехотя выползло холодное зимнее солнце, а время подобралось к десяти часам.

— Но, управ, если некого в Горный послать, меня отправляй, свободного пенсионера, — вломился в контору кайрунский весельчак и забулдыга Чакылдай, выглядевший на этот раз строгим и деловитым. — Человек свят не только когда появляется на свет, но и когда уходит в последний путь... Говори, управ. Командуй, как тебе полагается...

Из-за его спины возник громоздкий и смущенный Майну.

— Какой разговор! — выпалил он, будто отвечал на вопрос. — Раз надо поехать, я поеду.

Чакылдай покосился на него, но смолчал, хотя чувствовалось, что ему известно, как вел себя накануне Майну.

— Вот и ладно, — вздохнул с облегчением Санаа. — Выходит, с шофером три человека. Отправляйтесь. Пусть хоть Багыр в родной земле останется, если отец его неизвестно где лежит...

— Молодец, управ! — восторженно воскликнул Чакылдай. От его деловитой сосредоточенности, которая так не шла ему, не осталось и следа. Суетливый, болтливый, он привычно сыпал словами: — Умеешь ты, управ, насквозь посмотреть. Я только что то же самое думал. Молодец какой! Умные слова всегда зацепляются в памяти.

Нахлобучив на седую голову старенькую ушанку, Чакылдай взглянул снизу вверх на Майну и кивнул заросшим серой щетиной подбородком в сторону Санаа:

— Слышал, Майну, что управ сказал? В его словах — великая правда, парень! Вот как.

Санаа и не ожидал, что его слова, а вернее — слова те-тушки Сырги, вызовут такие бурные чувства у Чакылдая. Ему даже не по себе стало. Он торопливо поднялся из-за стола.

— Можете ехать хоть сейчас. Корондой только машину заправит. До вечера обернетесь.

В кабине рядом с шофером только одно место. Двоим не поместиться. Чакылдай с Майну попеременно ехали то в кабине, то в кузове грузовика, под брезентом, не спасавшим ни от колючего стылого ветра, ни от обжигающей снежной пыли.

До города добрались к обеду. Пока оформили документы, съездили в похоронное бюро за гробом, потом в морг, уже свечерело. Решили не оставаться ночевать и отправились в обратный путь.

— Садитесь в кабину, — предложил Майну Чакылдай. — Вам холодно будет наверху. Устали...

Чакылдай наотрез отказался.

— Вместе поедem. Втроем, — кивнул он на заколоченный гроб.

Запахнувшись поплотнее в теплые шубы, привалились к переднему борту, прижались друг к другу. Тронулись.

Соседство с покойником не смущало Чакылдая. Он без умолку тараторил, отвлекая Майну от мрачных мыслей.

— Ба-таа! — восхищался старик. — Переменился наш Горный! Не Москва, конечно... Все равно — ба-альшой город! Какие дома понастроили. Фонари какие яркие горят! У нас дома темнее, чем тут на улице. Зачем на улице такой свет?..

Их обгоняли, неслись навстречу, тянулись за ними груженные и порожние машины. Чуйский тракт гудел автомобильными моторами, ревел и бесился серой крутой пургой, сквозь которую слепяще прорывались пучки света фар. Дорога, словно живая, двигалась вместе с ними, мчалась быстроногим табуном, распластав по ветру шелковистые гривы скакунов, высекая удар за ударом искры из-под копыт.

— После войны я в городе всего один раз был, — не умолкал Чакылдай. — Ты мои послевоенные годы знаешь, Майну. Все они в тайге прошли, в урочище Тюгюрюк. Вместе с отцом твоей жены, с моим лучшим другом Монулдаем...

Откуда-то из недр туго запахнутого тулупа старик извлек поллитровку и граненый стакан. Горлышко бутылки билось о край стакана, дробно позвякивая, водка выплескивалась. Покачиваясь на быстром ходу машины, Чакылдай выпил с полстакана, жестом предложил Майну. Тот не отказался. Снова зазвякала бутылка.

Водка сначала обожгла холодом, но тут же уняла противную дрожь и разлилась по жилам сопливым теплом. Чакылдай, выпив, стал еще разговорчивей, а Майну, не раскрывший рта за всю дорогу, вовсе помрачнел. Он не слушал, о чем болтает старик, но механически поддакивал ему, чаще всего невпопад.

— Майну! А Майну! — до его сознания с трудом дошло, что Чакылдай настойчиво обращается к нему.

— А? Что?

Старик дернул подбородком, на котором ключьями топорщилась щетина. Мысли, собравшиеся в голове Чакылдая, не давали ему покоя. Словно клубок змей сидел внутри Чакылдая. Будто огнем припекало его. Он должен был сказать Майну очень важное. Сказать именно сейчас. Для этого был самый подходящий момент. Если сейчас не выплеснуть то, что камнем лежит на душе, когда еще представится случай? Майну — парень с головой. Он должен понять, должен послушать старика, сделать для себя правильный вывод. Молодость часто ошибается. А кто любит признаваться в своих ошибках? Чем позорить человека на людях, лучше высказать ему одному.

Не зная, как ловчее начать, Чакылдай кряхтел.

— Ты, Майну, неправду старой Сырге сказал...

Майну напрягся. Чего ему надо?

— Неправду сказал! — повторил старик. — Насчет того... что у тебя только две руки и две ноги... Всего у тебя по четыре, Майну. Правых рук у тебя две. Одна — вот она, с тобой, а другая дома осталась. Это — твоя мать, Дыламаш. И левых две. Одна при тебе, а другая — жена твоя, Торкош...

Если ударить плетью лежащую поперек дороги змею, она вмиг сожмется в пружину, готовая к отчаянному прыжку. Так и Майну напрягли до предела слова Чакылдая. Кто и когда всерьез принимал старика? Мало ли чего болтает! Но это было не пустое Чакылдаево балагурство. Это было всерьез.

Несмотря на кромешную тьму, Чакылдай почувствовал, что его удар попал в цель, что Майну весь подобрался.

Он решил еще раз хлестнуть его, пока тот не пришел в себя, не способен защищаться. Рукоятка плетки была в руке Чахылдая, и он занес плеть высоко над головой. Иначе поступить он не мог: змею надо обязательно добивать, чтобы не шипела, не поднимала головы, не жалила.

— Ты на меня не дуйся, парень, а думай. Хорошо думай. У Багыра таких помощников, как у тебя, не было. Ни матери, ни жены... Не забывай про это. Эх!.. У меня вот тоже нету никого. И детей, как говорят, бог не дал... Один на всем белом свете, как головка дикой луковицы...

Дать бы водю Майну, он своими большими и сильными руками придушил бы этого болтливого старика. Кто его просит лезть в душу? Какое ему дело до Майну? Выпрыгнуть бы сейчас из мчащейся сквозь пургу машины и бежать, бежать куда глаза глядят.

А старик не унимался.

— Мой друг Монулдай тогда был прав. Помнишь, что он на твоей свадьбе сказал? Некому было учить вас и предупреждать: «Поп, Багыр, поп! Это опасно. Сгореть можешь».

Шофер, должно быть вспомнив о сидящих в кузове, включил маленькую тусклую лампочку — не ярче свечки — под самой брезентовой крышей. Желтый мутный свет ударил по глазам Майну и даже ослепил на мгновение. Он покосился на Чахылдая. Старик положил короткий и толстый указательный палец на крышку гроба.

— Сильный был парень, Багыр. Мастер! Все умел делать, ни в чем тебе не уступал. Только не нашлось среди нас человека, который бы ему вовремя подсказал, помог... Все мы виноваты, что он так рано ушел... И ты виноват... Вот что еще я бы тебе сказал, Майну, — добавил Чахылдай после короткого раздумья. — Каким бы богатырем ты ни родился, каким бы ни стал мужчиной, все равно судьба человека не только от самого себя зависит... Человек среди людей живет... Вот так... А дальше сам мозгуй. Не буду я тебе больше мешать.

— Ваша взяла! — нехотя согласился Майну. В чем-то старик был, конечно, прав, но не привык Майну, чтобы его поучали, и каждое слово Чахылдая было ему против шерсти. Одна же фраза кольнула больней других: «Человек среди людей живет...» Так Монулдай любил говорить.

Вдруг ему вспомнилось, как накануне Торкош заступилась за него.

— А вы, дедушка Чакылдай, — произнес он миролюбиво, — согласитесь со мной, что самая опасная болезнь современности — алкоголизм. Разве не так? Говорят, от него больше людей умирает, чем от рака...

Чакылдай рассердился, приняв слова Майну на свой счет. Какая-то жилка в нем начала накаляться, словно сунутая в огонь проволока. Ему хотелось ответить как можно злее, но он тут же остыл и, опершись о плечо Майну, приподнялся. Кузов мотало из стороны в сторону, и старика тоже бросало так, что ему пришлось навалиться на Майну, чтобы не упасть. Наклонившись к самому его уху, Чакылдай прокричал хриловато:

— Может, ты прав... Если бы мои, старики, сами не пили... — Он сел, но тут же опять поднялся и, держась уже обеими руками за плечи молодого, сильного парня, ясно и трезво произнес: — Теперь не мы «кайрунские цари»... Теперь ваше время... Молодых... Понимаешь...: Наша жизнь отшумела и унеслась, как та машина, которая только что ехала нам навстречу...

— Вот-вот, все вы «отшумели», — с ехидцей сказал Майну. — А обвиняете нас, молодых отцов, да еще отыскиваете всякие оправдания в свою пользу. Кто вам мешает сидеть у дверей кайрунского клуба и кричать: «Поп, Коонке! Поп, поп, Садак!» Или еще кому из молодых, которые уже начали показывать зубы. А то и так еще можно: «Поп, поп, Морейчи, поп, вдовушка, у тебя ведь дети растут!» Так что и «поп» надо кричать хором, а не упрекать тех, кто правильно живет, — он, мол, даже сломанную иглолку с дороги подберет...

— Да, надо кричать хором... А ты все же думай, думай, друг мой молодой. Не только подол у твоей шубы длинный, жизнь у тебя впереди должна быть большая и красивая. Своим детям, маленькому Монулдаю говори эти «поп-поп!», а не мне, старику, прошедшему огонь и воду от Кайру до мирового города Праги... Жизнь — не мои шуточные слова, друг мой молодой. Она, как весенний или осенний день, то смеется, то плачет, то слякоть, а то рыжее солнце над головой...

Гудел от машин и ветра Чуйский тракт. Завывала пурга. Мчался сквозь тьму грузовик, в кузове которого стоял гроб с телом Багыра.

Стонало сердце в груди Майну.

...И эта зима прошла, и еще несколько. Выпадали над Кайру разные дни, полные и счастья и печали, приходили им на смену другие дни. Жизнь шла своей невозвратной дорогой, но иногда, словно для того, чтобы напомнить о прожитом и пережитом, оглядывалась назад и вновь проходила почти тем же путем.

Если бы Багыр остался живым и по-прежнему работал в своей кузнице, ему тоже было бы тридцать семь. Но кто теперь станет считать его годы? Кому это нужно? Смерть не спрашивает: «Когда мне за тобой приходиться? Завтра или лет так через десять?»

Вскоре после того как умер Багыр, похоронили и тетушку Сыргу. Двор ее зарос травой. Домик почти развалился. Не осталось в Кайру ни одного человека из рода Чечогоевых...

— Высох корень этого рода, — сказал Чакылдай, когда рядом с могилой Багыра вырос свежий холмик.

И вправду высох. Не было причин вспоминать Багыра и Сыргу, а Сулатая и Карагыс и тем более. Останься хоть маленький росточек их семьи, жила бы и память об ушедших. Человек тогда человек, когда он жив. Тогда и имя его слышится то тут, то там, кого-то радуя, кого-то огорчая. А после смерти остается одна печаль... Как в песне поется: «Полынь-травой моя могла зарастет...»

Если твой род многолюден, корни твои глубоки — долго не забывают твое имя и после смерти, хоть порой и не очень много успел ты сделать на земле.

А поверить все-таки трудно. Неужели так и суждено прекращаться роду человека? Может, не стоит терять надежды? Может, хоть где-нибудь да осталась живая клеточка, крохотное семя, росточек зелененький?

Все может быть. Каких чудес на свете не бывает! Только в Кайру у Чечогоевых родни нет. Никого не осталось. А о других селах мы и знать ничего не знаем.

Годы между тем идут. В очагах айлов новобрачных молодые отцы зажигают огонь своего семейного счастья... Удивительная все-таки штука — жизнь!

С начала зимы Майну возил лес для новой кошары. Вся работа на кайрунской ферме крутится вокруг скота — овец да коров. Скот на селе — что твой магнит, всех к себе притягивает. Земля остается та же — ни вширь, ни вглубь не увеличивается, а скот растет и множится.

Как вокруг Солнца вместе с Землею безостановочно вращаются от века планеты, так и жизнь деревенская ходит по одной орбите — вокруг дальних и близких, летних и зимних стоянок, вокруг выпасов и пастбищ, лугов и полян, вокруг заготовки кормов, стрижки овец, дойки коров, окота, отела, ухода за молодняком...

Два дня назад, как и накануне, как и на прошлой неделе, Майну возил лес для новой кошары. Поздним вечером, притащив за собой хрусткую свежесть зимних просторов и легкого морозца, он переступил порог своего дома.

Как всегда, дома было тепло и просторно, знакомо и мило: ласковая улыбка Торкош, сидящей по-алтайски, с поджатой под себя правой ногой, у жарко натопленной русской печи, неторопливые хлопоты матери, веселый гомон детей — все радовало его сердце и успокаивало душу.

Майну снял теплый солдатский бушлат и поддетую под него меховую безрукавку, умылся теплой водой, которую поливала из большого ковшика жена, и сел за стол ужинать. Хлебнув для пробы две или три ложки обжигающе горячего кёчё и вполне удовлетворенный вкусом густой похлебки, отрезал добрый кус мяса и дал работу крепким и острым зубам. Не оставил без внимания и свежий хлеб, отваливая от булки ломоть за ломтем.

Мать знает, что после работы у Майну всегда хороший аппетит, и готовит с запасом. Кёчё Майну не меньше трех чашек опрастывает. А чашка у него вместительная, эмалированная, литра на полтора.

И в этот раз ужинал он основательно — уложился в свою обычную норму: три миски супу, полбулки хлеба, кусок мяса. После этого принялся за чай — вкусный и крепкий алтайский чай с молоком и солью.

— В соленом чае, — любил говорить Майну, — особая сила. Во-первых, долго пить не хочется, не так сильно потеешь. А во-вторых, мускулы от него крепче. Для мужчины соленый чай особенно полезный...

После ужина, как правило, укладывается на диван, чтобы хоть для порядка подержать в руках газету. Читать Майну вообще-то любит, но после рабочего дня да сытной еды глаза не слишком долго задерживаются на газетных строчках. Иногда, правда, Торкош тормозит его, зовет в кино, и Майну не отказывается, идет с нею. Теперь ведь не лето — чего еще делать? Зимние дни, а особенно вечера в деревне похожи один на другой.

Сегодня тетушке Дыламаш очень хочется, чтобы сын никуда не уходил, остался дома. Сегодня Дыламаш с особой тревогой и надеждой ждет, когда Майну выйдет из-за стола и направится к дивану.

Только бы Торкош не вздумала тащить его в клуб!

Только бы успеть подсунуть ему свежую газету!

Днем невестка принесла с почты «Алтайдын Чолмоны» и, протянув Дыламаш, сказала:

— Тут про нашего земляка напечатано. Про отца Багыра — Сулатая Чечогоева.

— Дай посмотрю...

Громко застучало сердце тетушки Дыламаш. Стараясь скрыть охватившее ее волнение, она скрылась с газетой в своей комнате.

Торкош ничего не заметила. Не обратила внимания и на то, что свекровь до самого вечера ходила по дому словно потерянная, с покрасневшими глазами. У нее, у Торкош, и своих забот полон рот — детишек-то хватает!

Но вот Майну допил чай, поднялся из-за стола. Дыламаш заторопилась, чтоб не дать ему заняться другим делом, подала принесенную Торкош газету.

— На, — сказала она. — Читай, Майну. Я сегодня над этой газетой весь день глаза мучила. Ох, куда... бог мой милостивый... Старость не радость...

Тут же Дыламаш поспешно убралась в свою комнату.

— Не надо, папа! — подбежала к Майну четырехлетняя Медея, с такими же бровями, как у матери, с большими белыми бантиками в коротеньких смешных косичках. — Не читай!

— Почему? — Майну подхватил дочь и усадил к себе на колени. — Хочешь, чтобы я тебя поласкал, балам? А, доченька?

— Ты тоже будешь плакать, как старая мама...

— Не шабарчи языком, воробышка, — подала из своей комнаты голос Дыламаш. — Иди-ка лучше ко мне.

— Пусть папа отдыхает. Не мешай, Медея! — Торкош взяла за руку дочку и отвела ее к свекрови, а сама принялась убирать со стола.

Медея... Кайрунцы немало удивлялись, когда девочке дали такое имя. Теперь-то привыкли, хотя и не знают, откуда его выкопала Торкош. Многие в толк не возьмут, что это за Медея такая.

Надо сказать, с именами у наших людей не так-то

просто. Тут даже посложнее, чем с деревенскими кличками-прозвищами. Что только с именами не связано! И движения времени, и перемены в общественных взглядах. До революции в том же Кайру были в обиходе только традиционные алтайские имена, чаще всего худые, неблагозвучные. Никого не удивляли ни Бокту — Пачкун, ни Ит-Баш — Собачья Голова, ни Куйрук — Хвост или Тенек — Глупый, ни Дыалку — Ленивая или Дыту — Вонючая...

И ходили по земле всю свою жизнь Лягушонки и Голые, Щенки да Пуны, Негодные и Неопрятные... Были имена и того хуже. Что в сравнении с ними уличные клички!

После имена стали меняться, словно осенняя или весенняя погода. Одно время развелись в Кайру Коммунары и Совхозы, Журналы да Бригады, Агитаторы и Перевыборы — да, да, были такие мальчишки и девчонки! Дед Чакылдай, сам тогда еще не старый, но такой же брехливый, высказывался по этому поводу, что и сам черт не поймет, кого на тот свет уводить...

А сколько путаницы получалось с обычными русскими именами. Яснее, кажется, ясного: Василий, Вася или там Васек — одно и то же. А в одной семье можно было повстречать всех троих — и Василия, и Васю, и Васька. Никто не путал братьев Кольку, Николая и Николашу. Никто же не объяснял, что Марию можно звать и Машей, и Мусей, и Маней, и еще как-нибудь.

Годы идут.... Меняются и имена. Теперь все меньше и меньше Пионеров, Майоров, Тракторов, почти не встретишь сестричек Ана, Анак и Аначак — Анну, Анку и Анюту, братьев Ивана и Ваню...

Говорят, колесо истории вспять не повернуть. Это смотря какой истории! Разве не доказывают обратное новые имена новых кайрунцев? Вдруг в моду вошли имена древних алтайских богатырей — Козын-Эркеш, Ай-Солотой, Алтайчи... И опять не без греха! Некоторые регистраторы сельсоветов до того набили руку на Николаях да Константинах, что наотрез отказываются записывать младенца Амыром, Багыром, Ырысту или Майну, хотя это добрые, звучные и подлинно алтайские имена. Тут уж все зависит от пастойчивости отца с матерью. Торкош, конечно, никто не посмел перечить, оттого-то и растет у них с Майну маленькая Медея. Так что совсем не просто приходит к человеку имя...

Майну не придал значения тому, что сказала дочурка, и развернул газету.

Ну, ладно. Какой-то подполковник пишет о каком-то солдате. Что ему, Майну, до этого? Пусть пишет.

И все-таки передалось, должно быть, ему волнение матери, потому что Майну вскочил с дивана.

— Мама! Эй, мама!..

Дыламаш не отозвалась.

— Куда-ай! Не про отца ли Багыра тут написано, мама? Я же этого Сулатая видел, когда был маленьким. Помните, мама, когда он приезжал с фронта?

Дыламаш и тут ничего не ответила. А Майну, охваченный воспоминаниями, продолжал рассуждать вслух:

— Он был высокого роста. И над левым глазом — большой шрам. Мама, помните?

— Помню, Майну, — еле слышно донеслось из соседней комнаты. — Я все помню... Это было летом сорок третьего...

Пощипывая травку в тайге, набредают порою косули на солонцы или на специально оставленную для них человеком соль. Доберутся до лизунца, и за уши их не оттянешь. Часто будут наведываться к этому месту в надежде полакомиться еще. Так и Майну не мог теперь оторваться от газетного листа. Каждое слово, написанное незнакомым ему подполковником о земляке, кайрунце Сулате Чечогоеве, отце Багыра, наполнялось особенным смыслом, каждую фразу хотелось перечитывать по несколько раз.

— Отец Багыра был настоящий герой! Какой человек! Был бы жив Багыр — обрадовался...

«...Мой боевой друг Сулатай Чечогоев был отважным разведчиком. В трудных местах воевали мы — в непроходимых болотах, которые и зверь обходил стороной, на берегах суровой и холодной Свири, а после в Заполярье. Сулатай не однажды находил тропы через топкие места, по несколько раз на день случалось ему одолевать студеные волны реки.

Забуть не могу зиму сорок четвертого в Заполярье. По многим причинам. Связано это и с моим фронтовым товарищем — Сулатаем. Там, где мы воевали раньше, значительно южнее, — сплошь равнина, а тут согры да сопочки, невысокие ели да пихты. И белые ночи. Красота! Любоваться ими, конечно, большое удовольствие, а вот бои вести или тем более линию фронта переходить — совсем другое дело.

Нам позарез нужно было добыть «языка». Надо, — значит, надо! Разобрались на местности, как скрытно про-

браться к фашистским траншеям. Рассчитали как будто все верно. Учили и то, что прямо на нашем пути — вражеский пулемет. Одной группе задачу поставили подавить эту огневую точку. Другая в обход пошла.

Перед рассветом — это по времени: так и так светло! — на счастье густой туман пал. Это нам здорово помогло. С пулеметом справились без шума. Добрались до немецкой линии обороны. И вдруг у нас за спиной пальба — автоматы трещат, гранаты рвутся. Там, сзади и чуть правее, должна была находиться группа Сулатая. Что-то с ними случилось, а что — выяснять некогда, у нас своя работа. Воспользовались неразберихой, уволокли одного фрица и давай скорее назад.

После уже стало известно, что Сулатай с товарищами напоролся на встречную группу: немцы проходы к нам разминировали для своих разведчиков. Тут у них и пошло, кто кого... Когда у Сулатая патроны кончились, он за гранаты схватился. Одну кинул, со второй приподнялся. Тут его и полоснуло очередью.

Вынесли Сулатая. Он был тяжело ранен — три пули пробили грудь, две попали в голову. Почти сутки он еще жил, а помочь ему ничем было нельзя.

Нашего боевого друга Сулатая Чечогоева, разведчика, мы похоронили со всеми воинскими почестями неподалеку от небольшого озера Верхний Верман, на высоте 384,0...»

Дыламах, навалившись плечом на дверной косяк, стояла у порога своей комнаты и не решалась переступить его. Майну между тем не отрывался от газеты, глотая букву за буквой. Слова неведомого ему подполковника, обычные, порою даже трафаретные фразы все больше и больше захватывали его. В них, в этих словах, была правда, и она согревала их, наполняла жизнью. Майну ничего не слышал. Он был далеко от Кайру — там, в Заполярье.

«...Незадолго перед последним боем и своей гибелью Сулатай рассказывал нам свой сон. Он запомнился мне своей необычностью, хотя все сны — необыкновенные. Тут, видимо, дело было в другом. Сон Сулатая — что сказка. Самая настоящая алтайская сказка, которую я услышал впервые. Потому, возможно, и засела она у меня в памяти. Больше того, я не раз и при различных обстоятельствах припоминал этот сон, как только передо

мной возникал образ Сулатая. Ведь сказка сказке рознь. Допускаю, что я мог что-нибудь перепутать, но за общий смысл ручаюсь.

Приснился нашему солдату страшный дракон, питающийся человеческой кровью. Сулатай говорил, что этот дракон — семиголовый Дьелбеген — чуть ли не во всех древних алтайских легендах и преданиях, что он — враг всех добрых сказочных богатырей. Вот с этим самым Дьелбегеном и заспорил во сне Сулатай.

Дракон ему говорит:

— Весь род людской исчезнет с лица Земли!

Сулатай отвечает:

— Не выйдет! Хотя бы один-единственный мальчик из нашего рода останется.

— Нет. Все погибнут.

— Хоть одна-единственная девочка из рода человеческого останется в живых!

— Всех погублю! Я буду единственным хозяином Земли! — твердит Дьелбеген.

— Не может прекратиться род человеческий! — не уступает Сулатай.

— Нет! Нет! Нет! — гремит дракон. — Не быть на белом свете людям. Я, только я один буду на Земле!..

Сколько лет прошло, а я отчетливо слышу чуть хрипловатый, простуженный голос солдата, вижу его пристальный, пронзительный взгляд.

Скажут, подумаешь, ерунда какая — сон... Да, вроде бы ничего особенного. А вот врезалось в память!

— Закричал Дьелбеген, — рассказывал Чечогоев, — и стал меня живьем заглатывать. Чувствую, уже погибаю. И вдруг услышал: «Па-паа! Паа-паа!» Понимаете? Голос сына услышал. Зов моего рода услышал!..»

Майну оторвался от газеты, посмотрел поверх нее невидящим взглядом.

— Он и там о своем Багыре думал...

Навалившись плечом на дверной косяк, стояла на пороге комнаты Дылаамаш и плакала. Майну удивленно уставился на нее: давно не приходилось ему видеть на глазах матери слезы, не помнил он, чтоб ходила она простоволосой, без будто приросшей к голове шапки из лисьих лапок.

— Опять старая мама плачет, — слышался звонкий

голосок Меден. Девочка подбежала к Майну: — Я же говорила тебе, не читай! Теперь ты тоже будешь плакать. Не надо, папа!

Торкош наконец-то заметила, что свекровь не в себе, кинулась к ней.

— Что с вами, мама? Отчего вы так расстроились?

И тут случилось такое, чего Майну и Торкош даже представить не могли.

Дыламаш рухнула на колени, опустив низко, чуть не до самого пола, голову. Седые волосы ее, серые, как зола, растрепались.

— Можешь убить меня, сын! Тут же на месте...

— Что случилось? — Майну отшвырнул газету.

— Сулатай не только Багыра отец. Он и твой отец...

Почему не развалился дом, не рухнуло небо, не раступилась земля?

— Как?!

Дыламаш обхватила голову руками.

— Убей меня, сынок! Убей проклятую! Что бы я сама с собой сделала, что бы сделала... — причитала она.

Майну растерялся. Перепуганная Медея убежала. Торкош силилась поднять свекровь с пола, уговаривала, успокаивала ее, а та продолжала проклинать и корить себя.

— Хватит, хватит, мама! Нельзя же так! — словно маленькую, убеждала ее Торкош.

Дыламаш не унималась. Не просто было ей не то что объяснить — даже вспомнить то далекое. А уж выплеснуть наружу, выговориться до конца — и того трудней. И перед собственным сыном, которого носила под сердцем, и перед чужим, в сущности, человеком — перед участливой и славной Торкош.

Другое то было время, другие нравы... Теперь — что! Разговаривают парень с девушкой, «дружат», на виду у всех могут ходить по селу, да еще под ручку, а то и в обнимку... Такого в молодые годы Дыламаш быть не могло. Что же, значит, и любви тогда не было? Была и любовь, даже большая любовь. Только была она строгой и тайной. А были... были встречи без любви, неожиданные, необдуманные, случайные. Они, эти встречи, происходили по прихоти неразборчивых в своих желаниях нахальных парней. Так водилось. И такая «любовь» не оставляла девушке даже права пожаловаться, вызвать чье-либо сочувствие. Ее грех, ее вина, ее позор... Свидетелем ее уни-

жения и бесчестия были только темные ночи да далекие звезды, чьи-нибудь задворки или слепые углы хлевов... Один бог простит такую вину! И суразенка — незаконного — тоже бог простит...

Дыламаш смолоду была не как все. Девка — огонь! Такую голой рукой не возьмешь. Ее не обидишь. И Сулатай был не из последних. Парень видный, словно его не толканом и мясом кормили, а чем-то особенным, чтоб он был выше ростом и крепче телом всех своих сверстников, чтоб характер становился у него мягкий и ясный. Он умел быстро и непринужденно сходитьсь с людьми — старыми и малыми, мужчинами и женщинами. Всех привлекали его душевность, участливость, желание помочь каждому. Именно эти его качества стали бедой и радостью Дыламаш, подруги будущей жены Сулатая Карагыс.

Для Дыламаш Сулатай был и солнцем в ясном небе, и яркой звездой среди бесчисленных звезд, и негаснущим угольком в глубине ее сердца. Она завидовала Карагыс. И та, как нарочно, все говорила и говорила про свою любовь, про своего Сулатая.

— Сулатаю правится во мне то, чего другие боятся, — захлебывалась Карагыс. — Он без ума от моей родинки между бровями. Говорит, я его утренняя звездочка! А я его дразню, что никакая я не Тан-Чолмон, что я его боль и печаль.

— А он... Он что говорит? — не выдерживала Дыламаш.

— Он-то? Он хохочет. Болтовня, говорит. И опять свое: Звездочка моя — Тан-Чолмон, Звездочка моя, Карагыс... Для него во всем мире только одна звезда и светит — Тан-Чолмон. Это значит я, Карагыс, — трещит, не умолкая, подружка, каждым словом своим жалея Дыламаш.

А у самой Дыламаш тем временем зрела другая мысль. Она, эта мысль, все настойчивее одолевала ее, все чаще стучала в сердце: «Где же твоя гордость, Дыламаш? — твердила она сама себе. — Чем хуже твои глаза какой-то родинки над бровями Карагыс? Посмотри на себя, Дыламаш: разве ты уступаешь красотой своей подруге? Ведь Сулатай может стать и твоим счастьем. Карагыс много на себя берет. Не уступай ей, не уступай. Не упускай эту птицу поднебесную, счастье твое!..»

И Дыламаш покорила этому тайному голосу.

Мужчина есть мужчина, какой бы он ни был. Трудно

устоять ему, остаться равнодушным к стерегущей его в пути красоте. Ночь кричит: «Луна хорошо!» — а день свое твердит: «Солнце лучше!» Так и тут. Да еще болевшая суевенных старух насчет «тавра горьких слез» — бородавки на пальце Карагыс...

Большая любовь требует больших жертв. Она как лучи весеннего солнца, слепящие глаза. Ушел от Дыламаш Сулатай, ушел к своей Карагыс, оставив о себе сладкую и тайную память.

Разве Дыламаш после того, когда уже родила Майну, не сватали? Сватали, и не раз. Но у нее свой характер, своя гордость. Как решила, так и сделала. На всю жизнь. И осталась верной своей любви и своей беде, прекрасно сознавая, что нет печальнее печали и позорнее позора, чем бесчестье.

Никто, даже Карагыс, почти тогда же ставшая женой Сулатай, не узнал ее тайны.

А сколько разговоров было в Кайру, когда Майну появился на свет, будто родила Дыламаш не самого обыкновенного мальчика, с руками, ногами, глазами и ушами, а диво какое-то.

Вот и чесали языки, вот и чесали...

— Однако, сын Дыламаш на Айдына похож.

— Уж не из рода ли майман этот мальчишка? Что-то уши у него торчат, как у Шуру.

— Что вы! Шуру человек смиренный. Он не то что к девушке, к овце подойти бонется. А Дыламаш — коса острая, враз срежет!

— А может...

— Да вы что? Карагыс с Дыламаш водой не разольешь. Не-ет. Сулатай свою жену крепко любит.

Сколько ни судачили, сколько ни перемывали косточки Дыламаш, а ни к чему не пришли кайрунцы. Сама Дыламаш будто в рот воды набрала. Из нее и клещами бы слова не вытянули — характер и тогда у нее крепкий, крутой был. Примирилась в конце концов деревня на старой пословице: «Лучшая земля — сас, лучший мужчина — сураз», что обозначает, будто нет на свете ничего лучше болота и незаконнорожденного ребенка. Хоть и слабое, по утешение...

...Тридцать лет спустя вопрос, не признающий никаких недомолвок в ответе, снова всплыл перед Майну, убивая его, мстя ему. И в трех снах не привиделось бы ему, что опять все перевернется в памяти и сердце. Мгновенно жи-

вым колосом прорастет из давно брошенного в землю зерна. Нестерпимым пламенем полыхнет из, казалось бы, навсегда потухших углей.

Вспомнил!

Вспомнил тот день, когда он, мальчишкой, подрался с Багыром. Вспомнил голос матери... Сквозь годы зазвучал ее молодой и печальный голос:

— Ты зачем Багыра бил? За что?

Не мог не ответить ей Майну.

— Он своим отцом хвастает, мама...

Дыламаш тогда плакала. Так же, как сейчас. Тихо, беззвучно. С той поры, однако, и не видел ее больше Майну никогда в слезах. А тогда — плакала. И сказала еще:

— Не надо обижать Багыра. У него... снова ушел на войну отец...

Майну не мог вымолвить ни слова. Ему надо было самому во многом разобраться, перевероршить в себе, пересмотреть все, с самого начала.

Он сидел как пришибленный. С трудом, медленно поднял голову и устремил взгляд в пустоту, будто силился разглядеть нечто сквозь толстую и глухую стену дома. Во рту пересохло. Едва ворочая языком, с трудом выдавил из себя:

— Как же теперь быть?

Дыламаш все еще сидела на полу, но уже не плакала. Торкош, поддерживая ее одной рукой за плечо, другой гладила растрепавшиеся седые пряди свекрови.

— Я же не у стен, я у вас двоих спрашиваю! Как быть теперь? — нетерпеливо и требовательно прозвучал громкий голос Майну.

Женщины, словно очнувшись от забытья, переглянулись.

— Как быть, спрашиваешь? — не сразу произнесла Дыламаш. Веки ее покраснели и опухли. Задумчивые и потухшие глаза еще плотнее заволокло тенью печали и скорби. За какие-то минуты она постарела лет на пятнадцать. Слова, которые хотелось ей произнести, вспугнутыми птицами беззвучно слетели с дрожащих губ, но она все же успела поймать их вместе с эхом сыновнего вопроса. — Как быть? Как теперь быть?..

Лицо Дыламаш посветлело. Тени сбежали с него, словно предрассветные сумерки.

— Как быть, говоришь, сынок? — уже успокоенно повторила она. Голова ее медленно, но выше и выше, уве-

ренно и гордо поднялась. — Я тебе дала жизнь. Я — твоя мать! Как теперь быть? Надо жить... Вот что делать, сынок...

— Эх, мама, мама! — Майну раскачивался из стороны в сторону. — Зачем вы скрывали от меня?..

Он так и не дождался ответа. Взял газету и долго вчитывался в строки статьи о Сулатае Чечогоеве, о своем отце.

— Три-ста во-семь-де-сят че-ты-ре... Три-ста во-семь-десят че-ты-ре... Три-ста... — громко шептал он. На этой далекой высоте, где-то возле озера Верхний Верман, в Заполярье, могила солдата, разведчика, героя войны. Могила отца.

До сих пор молчавшая Торкош, будто все и за всех решив, сказала:

— По-моему, тебе надо ехать, Майну.

— Куда? — непонимающе вскинул брови. — К кому?

— Как это «куда»? — удивилась Торкош и убежденно произнесла: — Конечно же в Москву. Надо найти этого человека, который знал... твоего отца. Если ты не поедешь, люди о тебе плохо скажут, никогда тебе этого не простят. Скажут, денег пожалел, не захотел с другом отца встретиться.

— Кто скажет? Кто знает? — голос Майну дрогнул. — А он хоть раз обо мне вспомнил? Он хоть раз назвал меня сыном?

— У него ведь была семья... — не вытерпела Дыламаш. — И я велела ему забыть и тебе не говорила. Пойми меня правильно, сынок.

— Всем известно, что у него один сын — Багыр. — Майну кружил по комнате. — А я? Кто я?

— Мертвым не мстят, сынок... А Багыр тоже ни в чем не виноват.

Торкош поддержала ее:

— Опомнись, Майну! При чем же действительно Багыр?

— А кто винит Багыра? Зачем зря болтать...

— Тогда кого же ты упрекаешь? — не отступала Торкош. — Может, своего отца? У него тоже нет вины перед тобой. Он погиб и за тебя, и за всех нас.

Дыламаш с помощью невестки добралась до табурета и сидела, силясь представить, как, по какому руслу потечет теперь их жизнь, как сложится, по спору между детьми, казалось, не будет конца, и она опять вмешалась:

— Перестаньте! Хватит. Ехать — не ехать... Зачем шуметь впустую...

Торкош однако не собиралась сдаваться. Внимательно вглядывалась она в мужа, будто хотела отыскать в нем что-то доселе ей неизвестное, непонятное.

— Эх, Майну! То ли мысли твои птицы расклевали? — Она чуть насмешливо улыбнулась. — Я думала, ты не такой. «Что я его, отцом должен называть?» А разве он тебе не отец? Как это ты можешь признавать или не признавать! От этого ничего не меняется. Если ты не поедешь к другу отца, не побываешь на могиле отца, кто это сделает? Думаешь, тот подполковник в газету написал от нечего делать?

Когда Майну что-нибудь втемяшится в голову, трудно его переубедить. Упрямый он, ни за что не свернет с пути, куда бы этот путь его ни завел. Вот такой человек... Тут же Торкош как будто проняла его. Размяк, задумался, примолк. Снова рука нашарила номер «Алтайдын Чолмоны». Снова глаза уткнулись в строчки. Теперь и до его слуха донесся отчаянный крик: «Па-паа! Па-паа!» Чей голос звучал в ушах Сулатая, когда видел он свой страшный сон? Майну вздрогнул.

Самолет летел высоко над облаками, с каждой секундой приближаясь к Москве. Скоро Майну Кыпчаков доберется до дома подполковника Ивана Петровича Карасева, друга его отца...

О годы и жизнь! Как много тайн скрывают они от человека в своей безостановочной круговерти! И жизнь и любовь — великая тайна. Но Майну не будет теперь страшиться этой тайны. Впрочем, не боялся он и прежде, только многого не понимал, во многом не умел разобраться. Это и немудрено. Когда же перед человеком потихонечку открывается вся сложность его существования, когда спадает с глаз туманная пелена, просторнее становится земля и небо, все вокруг для него открыто, все ново и ясно, и видятся ему самые дальние дали.

Весна... Зеленеют нагорья и поляны. Слышно, как блеют овцы, мычат коровы и залиристо ржут кони. Прямо перед глазами — голубые долины Тюгюрюка, хребты Ак-Саса и Толубая, темные пади Монкулака и снежные вершины Маргалу... Э-э! Какой простор! Красотища какая!

Он слышит гул своего трактора и видит черные, клубящиеся паром обширные пашни среди гор.

Тайны жизни... Какими страшными они иногда бывают!

Слух Майну уловил звяканье железных лопат, глухие удары кайлы о мерзлую землю и камни кайрунского кладбища. Оно находится в южном краю деревни, в тихом логу. Простое, невзрачное сельское кладбище. Ни над одной могилой нет там не то что гранитного памятника, даже шербатого камня. Нет и оградок. Высятся холмики земли, сравнивает их время... Умрет человек, и похоронят его со слезами и печалью. Тем дело и кончено... В том же тихом логу зарастают травой могилы брата Майну Багыра, родной сестры его отца — старой Сырги. А отец, Сулатай Чечогоев лежит далеко от них, в северных краях, в Заполярье, на высоте 384,0... Какой все-таки злой и несправедливой бывает жизни! Оказывается, иногда люди родятся не тогда, когда живы, а лишь после смерти...

До сих пор Майну жил сам по себе, своими интересами, своими «максимумами». Теперь все переменялось, да так круто. Теперь ему жить и за своего отца, и за единственного брата, за троих сразу. А до смерти еще далеко...

Осенью над Кайру часто вспыхивают в ночном небе над хлебными полями сухие молнии. Люди говорят, что от них пуще зреют хлеба. Прочерки таких же точно молний словно озаряли Майну изнутри.

Ему тридцать семь, но сколько же было совсем еще недавно неясного и тайного для него! Он не знал даже имени собственного отца! Сулатай Чечогоев — его отец... «Э-ээ! — воскликнул он про себя. — Когда тетюшку Сыргу хоронили, люди зря говорили, что кончился род Чечоговых. А я-то кто такой? Разве не Чечогоев?..»

Адрес подполковника Ивана Петровича Карасева Майну узнал в редакции областной газеты «Алтайдын Чолмоны» и крепко запомнил его: «Москва, Новослободская улица, дом номер шестьдесят семь, квартира сто девяносто девять». Жаль, не знает он номера телефона — позвонил бы ему прямо из аэропорта...

Гудит и гудит самолет над белыми облаками. М-а! На табло зажглись красные буквы: «Не курить. Застегнуть привязные ремни». Под крылом — Домодедово, Москва...

## Содержание

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Убить бы мне голод. Перевод В. Крупина . . . | 3   |
| До смерти еще далеко. Перевод А. Китайника   | 143 |

Борис Укачинович Укачин

ПОВЕСТИ

Редактор Т. Машовец

Художник К. Авдеев

Художественный редактор Е. Андреева

Технические редакторы Л. Дунаева, Г. Бойцова

Корректоры Г. Голубкова, Л. Немтинова

ИБ № 3069

Сдано в набор 25.03.83. Подписано к печати 21.07.83.  
А 06675. Формат 84×108/32. Гарнитура литерат.  
Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л.  
10,92. Усл. краск.-отт. 10,92. Уч.-изд. л. 12,26.  
Тираж 50 000 экз. Заказ 26. Цена 1 р. 10 коп.

Издательство «Современник» Государственного  
комитета РСФСР по делам издательств, поли-  
графии и книжной торговли и Союза писателей  
РСФСР

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Типография № 2 Росглавполиграфпрёма,  
г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8







